

ДМИТРИЙ БЫКОВ

# ДМИТРИЙ БЫКОВ

р а с с к а з ы

# ЖДД

**ЖД** – рассказы

**П Л Ю С**

5 НЕ **ЖД**-РАССКАЗОВ И  
1 **ЖД**-СТИХОТВОРЕНИЕ







ДМИТРИЙ  
**БЫКОВ**

р а с с к а з ы

**ЖД**

м о с к в а   в а г р и у с

УДК 882-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Б 95

Редактор Елена Шубина

Художник Евгений Габрелев

Быков Д.Л.

Б 95 ЖД-рассказы / Дмитрий Быков. —  
М.: Вагриус, 2007. — 304 с.

ISBN 978-5-9697-0504-3

Новую книгу Д.Быкова «ЖД-рассказы» объединяет с его романом «ЖД» только аббревиатура. В романе автор давал ей несколько расшифровок, здесь одна, самая привычная — Железная Дорога. А дорога располагает к беседам, даже между незнакомыми людьми. «Это рассказы для чтения в вагоне, на палубе, в воздухе. И во время путешествия из одного состояния в другое. Автор писал их в таком же статусе», — говорит сам Д.Быков.

УДК 882-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 978-5-9697-0504-3

© Быков Д.Л., 2007  
© Оформление. ЗАО «Издательство  
«Вагриус», 2007

## Спальный вагон и маленькая тележка

Год назад мы стояли на сцене Большого цэдээловского зала — о, сколько несравнимо более занимательного видели эта сцена и этот зал! Только что в Большом зале объявили первого лауреата первой премии «Большая книга»: Дмитрий Быков, «Пастернак»!

Я пришел в отчаяние.

Дело в том, что незадолго до решающего вечера я заказал Диме Быкову серию из двенадцати рассказов для украшения журнала «Саквояж СВ», который я только что взялся редактировать. Журнал этот был задуман (забегая вперед, скажу, что замысел осуществился) как приятное разглядывание и даже чтение для обеспеченных пассажиров отечественных железных дорог — тех, что ездят в так называемых вагонах СВ (по-русски — спальных) и «вагонах повышенной комфортности» (как по-русски — не знаю).

И вот я договорился с Димой о серии сюжетных рассказов для удовлетворения дорожно-художественных потребностей этих небедных людей. Я был уверен (и не ошибся), что это как раз тот автор, который способен пробудить чувства добрые между закуской, чаем и сном на свежих казенных простынях... А теперь автору разом дали такие деньги, что он, конечно, забудет про мои робкие посулы.

«Димочка, — лъстиво шепнул я ему на ухо, — а первый-то рассказик?.. Через недельку, а?» Нет таких унижений, на которые не пойдет редактор перед хорошим автором.

Дима удивленно пожал крупными плечами: «А как же?!»

И с безукоризненной пунктуальностью сдавал в течение двенадцати месяцев.

Чем хороши рассказы Дмитрия Быкова, написанные им для «Саквояжа СВ»? Для журнала и журнального читателя вот чем: среди гляцевых прекрасных картинок, рассказов о красивых вещах и экзотических местах пассажир вдруг обнаруживал нашу настоящую жизнь, точно такую, которой живет он сам и окружающие, нелепую, страшноватую и необъяснимо притягательную. При чтении быковских рассказов, даже самых фантастических, появляется твердое убеждение, что так все и есть на самом деле. Мне достоверно известно, например, что одна учительница, прочитавши в вагоне рассказ про червя попсы, поселяющегося в организмах нынешних молодых людей, стала пугать этим червем своих воспитанников. И они ей поверили! Так что читатель журнала после рассказа Быкова с еще большим удовольствием погружался в мир глянца, где уж точно никаких червей нет — или они невинные...

А для автора, смею думать, железнодорожные рассказы оказались важным опытом писания — точно под заказ не только по размеру, но и по жанру; по обязательной сюжетности; по жесткости, как теперь говорят, формата. При всей увенчанности Быков прозаик-то еще молодой, ему такой навык не помешает. Получился первоклассный цикл малой прозы — как обнаружилось в книге, совершенно цельный. С таким, я бы выразился по-современному, мессиджем: «Скучно на этом свете, господа! (Н.Гоголь) Но терпимо... (Д.Быков)».

Ну, а к «саквояжным» автор в полном своем праве присоединил в этой книжке еще несколько рассказов о времени нашей с вами жизни. Времени, которого Дмитрий Быков есть совершенно точное зеркало.

*Александр Кабаков*

---

Он жил у железной дороги (сдал комнату друг-доброхот) — и вдруг просыпался в тревоге, как в поезде, сбавившем ход. Окном незашторенно-голым квартира глядела во тьму. Полночный, озвученный гулом пейзаж открывался ему.

Окраины, чахлые липы, погасшие на ночь ларьки, железные вздохи и скрипы, сырые густые гудки, и голос диспетчерши юной, красавицы наверняка, и медленный грохот чугунный тяжелого товарняка.

Там делалось тайное дело, царил чрезвычайный режим, там что-то гремело, гудело, послушное планам чужим, в осенней томительной хмари катился и лязгал металл, и запах цемента и гари над мокрой платформой витал.

Но ярче других ощущений был явственный, родственный зов огромных пустых помещений, пакгаузов, складов, цехов — и утлый уют неуютя, служебной каморки уют, где спят, если будет минута, и чай обжигающий пьют.

А дальше — провалы, пролеты, разъезды, пути, фонари, ночные пространства, пустоты, и пустоши, и пустыри, гремящих мостов коромысла, размазанных окон тире — все это исполнено смысла и занято в тайной игре.



И он в предрассветном ознобе не мог  
не почувствовать вдруг в своей одинокой  
хрущобе, которую сдал ему друг, за темной  
тревогой, что бродит по городу, через  
дворы, — покоя, который исходит от этой  
неясной игры.

Спокойнее спать, если кто-то до света не  
ведает сна, и рядом творится работа,  
незримо подчинена, и чем ее смысл  
непостижней, тем глубже предутренний  
сон, покуда на станции ближней к вагону  
цепляют вагон.

И он засыпал на рассвете под скрип,  
перестуки, гудки, как спят одинокие дети  
и брошенные старики — в надежде, что все  
не напрасно, и тайная воля мудра,  
в объятых чужого пространства, где длится  
чужая игра.

**ЖД**—  
р а с с к а з ы



## ОТПУСК

Валентин Трубников, хотя, конечно, никакой не Трубников, вдыхал знакомый вагонный запах, не изменившийся за три года, мельком взглядывал в темное окно, привыкая к своему облику, и ждал Веру Мальцеву, которая опаздывала. Это тоже ничуть не изменилось, прежде ей от него доставалось, о чем он в последние три года горько сожалел, — но теперь, правду сказать, Трубников радовался, что она задерживается. Его била дрожь, а когда толстого сорокапятилетнего человека бьет дрожь, это всегда смешно и неприлично. Воистину душа — хозяйка тела; материалисты, конечно, дураки. Тело ничего не может само. Этот Трубников, несмотря на годы, был здоровый, крепкий мужчина — вероятно, рыбак, автолюбитель, турист, и полнота его была не болезненная, а сочная и крепкая, от вкусной и здоровой пищи, от экологически чистых огурчиков с собственного огорода, не всякая эта нитратная гнусь. Вера Мальцева, вероятно, отшатнется при виде этого человека, он будет ей невыносим, и при всей своей хваленой воспитанности она не сможет скрыть раздражения. Противно ехать куда-нибудь с довольным, глухим ко все-

му человеком: никогда так не чувствуешь одиночества, как рядом с храпящей, плотной тушей, никогда не осознаешь так ясно, до чего мы все никому не нужны с нашей неизбывной болью, — в такие минуты кажется, что и Бог тоже толстый и тоже спит. В России, как в поезде с противным попутчиком, совершенно не с кем поговорить. Так называемого Трубникова это очень угнетало в свое время: лежал он, положим, в больнице, дела его были плохи, а рядом выздоравливал примерно вот такой. Трубникову, в силу плачевного его положения, хотелось поговорить, ночами он мучался от боли и от неуклонно прибывающих подтверждений диагноза, в такие минуты один понимающий взгляд сделает больше, чем любая таблетка, — но сосед ничего понимать не хотел: он оберегал свое едва наметившееся выздоровление, опасался заразиться от тяжелого соседа, на все трубниковские истории отвечал: «Всяко бывает», а от прямых вопросов уходил, отворачиваясь и хмыкая. Так Трубников и не узнал про него ничего, но возненавидеть успел капитально.

Выписываясь, сосед тщательно собирал свои судки, забрал даже старые газеты — не желал ничего оставлять в обители скорби; так зэк, говорят, перед выходом на волю должен все забрать из камеры — чтобы не возвращаться, типа примета. Трудно, трудно будет Вере Мальцевой всю-то долгую зимнюю ночь ехать с таким попутчиком в Нижний Новгород, в командировку, где у нее вдобавок сложное дело. Адвокат она молодой, двадцать семь

лет, а проблема там уж непростая — Трубников это дело знал, газеты читаем. Две девочки удавили больную соседку по ее личной просьбе, скажите, какое милосердие, — и ведь не подкопаешься, она нацарапала кое-как слабеющей птичьей лапой, изувеченной амиотрофным склерозом, положенное «никого не винить». Девочки, однако, после успешной эвтаназии обобрали квартиру удушенной, и это меняло дело; Мальцева в жизни не взялась бы защищать мерзавок (происходивших, кстати, из вполне состоятельных семей), кабы не временные денежные затруднения — да собственный специфический опыт по этой части, о котором ниже.

Трубников охотно избавил бы Веру Мальцеву от своего соседства. Но что поделать — у него это была единственная возможность легально провести с ней ночь, он специально подгадал отпуск под этот визит — в командировки она ездила редко. Еще, не дай Бог, опоздает — и тогда потерян год и прахом пойдут все приготовления: выслеживание на вокзале, покупка билета в то же купе... Но она не опоздала — и как ни ждал ее так называемый Трубников, а все равно Вера явилась неожиданно; так и на всех их первых свиданиях, когда он уже переставал надеяться, она вырывалась вдруг из толпы, словно ее нарочно задерживали, а тут она чудом вывернулась из цепких рук и мчится ему навстречу от незримого преследователя, и на лице всегда страх.

— Ты чего?

— Я боялась, что ты уйдешь.

— В следующий раз точно уйду. Полчаса, Вер! Совесть иметь надо, нет?

— Ну прости. Вот видишь, ты бы ушел. И мы бы никогда уже не встретились.

— А телефоны отменили?

— Нет, я точно знаю. Если бы ты ушел, то всё.

— Ты меня испытываешь, что ли?

— Боже упаси. Пробки, честное слово. Вся Ленинградка стоит.

— Пешком надо ходить, — говорил он назидательно, и они шли куда-нибудь пешком, поминутно останавливаясь: она висла на нем, лезла целоваться, вглядывалась, словно торопилась насмотреться. Как выяснилось, имел место ненаучный факт предвидения.

Она ворвалась в купе, задыхаясь, и действительно слегка отшатнулась, наткнувшись на его взгляд. Трубников поспешно опустил глаза.

— Здравсьте, — сказала она.

— Добрый вечер.

— Ой, я еле успела.

— Да, — сказал Трубников, не поднимая глаз. — Пробки.

Правду сказать, он чувствовал себя отвратительно. В прошлый раз даже решил, что в отпуск больше не поедет, но легко сказать. Особенно его огорчили бледность и худоба Веры Мальцевой: в ее годы женщине, пусть даже одинокой, положено быть цветущей. Вероятно, он даже одобрил бы ее замужество — впрочем, это тоже легко сказать, в теории мы все альтруисты. Трудно ей было одной, трудно.

Поезд тронулся. Трубников сидел нахохлившись и украдкой взглядывал на попутчицу: особых изменений не наблюдалось. Он сам не знал, что его так пленяло в ее лице, — слава Богу, почти никто из друзей не разделял этого восторга; приятно все-таки, что разным людям нравятся разные женщины, это как у растений цветение в разные сроки, которое он помнил из курса ботаники. Какое-то в ней было веселье, готовность к внезапному озорству — сейчас, конечно, поутихшая, загнанная внутрь. Раньше она вспыхивала от первой спички, от любой шутки, — вообще легко загоралась, страшно переплачивала людям, восхищалась посредственностями, о любом фильме, в котором померещилось что-то свое, рассказывала взхлеб, приписывая авторам то, чего у них и в мыслях не было; бесценная для адвоката способность искренне верить в чужую святость! Первое громкое дело было у нее как раз с шахидкой-неудачницей, которая передумала взрываться, когда увидела в витрине розовую кофточку и захотела такую же; у нее, вишь ты, никогда не было розовой кофточки. Присяжных это не тронуло, закатали голубушку на всю десятку, не такое было время, чтоб жалеть чурок, да еще и начиненных динамитом; Вера бегала во все газеты, рассказывала, какая удивительная девочка, как рисует, какие пишет стихи! Стихи были впечатляющие, нет спору: «Хочу раскрыть свою темницу и отпустить себя, как птицу». И кофточку ей купила — осуществляются мечты!

— Ну, давайте знакомиться, — решительно сказала Мальцева, словно нырнула в холодную



воду (в воду всегда вбегала с визгом — никаких этих долгих, осторожных вхождений, и с ним когда-то так же быстро сошлась, не думая о последствиях). — Я Вера Мальцева, еду в командировку. Вы до Нижнего?

— До Нижнего, — буркнул Трубников. — К сестре.

— Вы оттуда сами? Я просто впервые там буду, не знаю ничего...

— Нет, это она туда уехала. Замуж вышла.

— А, — сказала Мальцева. — Ну и как, удачно?

— Что — удачно?

— Замуж удачно вышла?

Что-то с ней было не так. Непонятно было, с чего она задает противному толстому мужику посторонние вопросы. Или так оголодала, что на любого кидается?

— Удачно. У некоторых вообще бывает удачно... свободная вещь...

Ах ты черт, подумал Трубников. Этого говорить не следовало. Она сразу вскинулась.

— Как вы сказали?

— Я говорю, бывают удачные браки иногда.

— Нет, не то! Про свободную вещь!

— А что, выражение такое, — не очень искренне удивился Трубников. — Многие так говорят.

— Это да, это да... Свободная вещь... А я вот адвокат, представляете?

— Чего ж не представлять, — он пожал плечами. Она явно нервничала, отсюда и болтовня.

— У вас там в Нижнем слышали, какая история? Две девочки женщину задушили.

— Читал что-то, — сказал Трубников. — Она их сама просила, по-моему.

Проводница забрала билеты и разнесла белье. Она была ласковая, доброжелательная, с дробным быстрым говорком, — у Трубникова при уже упомянутых тяжелых обстоятельствах была такая медсестра, и цену ее доброте он знал отлично. Никого она на самом деле не жалела, а ласковый говорок у нее был вроде защитной реакции, чтобы не вымогали настоящего сочувствия. Проводница спросила, не надо ли чаю.

— Обязательно! Два стакана! — попросила Вера Мальцева.

— Не много будет? — поинтересовался этот, тоже мне, Трубников.

— А я в поезде очень люблю, — сказала она с вызовом. — В детстве, бывало, в Крым еду — с мамой, с папой, они развелись потом, — и счастье уже, знаете, начинается с чая. Сахар такой был, с поездом нарисованным. Мне очень нравилось слово «рафинад», я думала, это особенное что-то, поездное. Мы дома с песком пили.

— А куда в Крым? — спросил он.

— Ой, мы много куда ездили. В Судак, в Севастополь. У папы в Феодосии друзья были.

Трубников вспомнил Феодосию, таинственного папиного друга, к которому лет восемь не обращались, а тут Верка взяла его адрес и, предупредив телеграммой, не ожидая ответа, отправилась с молодым человеком в гости. Молодой человек говорил, что ничего хорошего не выйдет, но она только смеялась

в ответ — девятнадцать лет, что вы хотите. Никакого друга на месте, естественно, не оказалось, он вообще переехал два года назад в Самару, как сообщили соседи, — эти же соседи указали и дом, где можно было за дикие деньги получить крайне убогую комнату, хозяйка все время плакала, у нее за неделю до этого погиб муж, молодой человек усмотрел в этом дурное предзнаменование, а Верка не верила во всю эту ерунду. Почему-то в тот год было страшное количество абрикосов. Наверное, это тоже было предзнаменование. Маленькие, хрупкие пароходики ходили по морю в Коктебель. Уезжали утром, возвращались вечером, в синих сумерках. Верка рассказывала страшное — импровизировала вообще с необыкновенной легкостью. Ночи были жаркие, она лежала, откинув простыню, а он смотрел на это счастливое бесстыдство — лежит, как Вирсавия, рубенсовская женщина, а на что смотреть-то, кожа и кости, птичьи ребрышки, подростковые тонкие ноги... Но что-то было, что-то необъяснимое, никогда и ни к кому так не тянуло.

Трубников сидел и думал: надо выйти, ведь она хочет лечь. Но он не представлял себе, как войдет и что будет делать, когда она переоденется. Все, что она говорила, он пропускал мимо ушей.

— Вы не слушаете?

— А? Нет, я слушаю.

— Нет, вы не слушаете. У вас болит что-то, да?

— Ничего не болит.

— Но вам не до меня, по-моему.

— Нет, Вера, говорите. Что вы. Очень интересно.

— Я говорю: а как они там отнесутся, в городе? Как вы думаете?

— Ну, откуда же я знаю. Я сам там не живу, только сестра. Но я думаю, город будет против, конечно.

— Почему?

— Видите ли... во-первых, мотив сострадания там исключен. — Он заговорил с привычной лекторской интонацией и сам себя одернул: не сочетается с нашей внешностью и поведкой рыбака, толстяка, туриста, станового хребта страны. — Они же обчистили квартиру, так? Потом: даже доктора этого, Караян или как его там...

— Кеворкян. Доктор Смерть.

— Ну да, Кеворкян... его же тоже приговорили, в Европе, в разгар политкорректности. Насколько я слышал, только в Голландии эвтаназия разрешена... и в Израиле, что ли...

— В Швейцарии, — сказала она. — В Англии...

— Ну, может быть. Я не занимался.

— А чем вы вообще занимаетесь?

— Я врач, — сказал он.

— Видите, как замечательно. — Она сидела, положив ногу на ногу, упершись подбородком в ладонь, — поза несколько искусственного, детского, умиленного внимания. — Но сами-то вы как относитесь?

— К чему?

— К эвтаназии.

— Резко отрицательно, — сказал Трубников. — Резко.

— Почему, можете сказать?

— Я думаю, — выговорил он не очень уверенно и на всякий случай опустил глаза, — я думаю, всё лучше, чем смерть.

— Ну, об этом вы, мне кажется, представления иметь не можете.

— А вы можете?

— Я могу, — сказала она твердо. — Бывают вещи значительно хуже смерти. Значительно.

— Это всё гуманитарные прибабасы, — отмахнулся Трубников. — Тыр-пыр, восемь дыр. А я рассуждаю как врач — и для меня живой пациент всегда лучше мертвого. Даже если я ничего не мог сделать — все равно.

— Как вы сказали? — снова насторожилась она.

— Я говорю, если даже я ничего не мог сделать...

— Да нет! — она отмахнулась. — Вот сейчас, только что, про тыр-пыр...

Черт возьми, подумал Трубников, до чего приставучи все эти идиомы, словечки-паразиты, по которым нас можно будет узнать и после конца времен! Собственно, моя речь из них и состоит. Частицы и междометия. А что еще может сказать человек, имея мой опыт? Нет человеческих слов для такого опыта, при встречах только по глазам друг друга и узнаём... Иногда в городе встречаю наших — сразу раскусываю; подошел бы, поздоровался, но этикет, сами понимаете, этикет... Может сойти, а могут лишить отпуска, и хорош я буду.

— Про тыр-пыр, — терпеливо пояснил он, — это такая пословица. Основана на том, что

у человека восемь дыр. Ну, не у всякого, у женского человека...

— Вы что, и уши считаете? — в ужасе спросила она.

— Это не я, это народ. А вы что же, за эвтаназию?

— Да, — сказала она решительно. — То есть я могу понять человека, который этого требует. И больше вам скажу — лично для себя я хотела бы эвтаназии.

— Но вы ничем не больны, — сразу насторожившись, сказал так называемый Трубников.

— Нет, я имею в виду — на случай чего-нибудь неизлечимого, — сказала она. — И потом, честно вам скажу, если бы меня сейчас кто-нибудь убил... черт знает, зачем я к вам со всем этим... ну, я не обрадовалась бы, конечно, но и сопротивляться бы особо не стала.

— Это у вас профессия такая, — мягко сказал Трубников. — Слишком много видите жестокости, ну и... Адвокат вообще, мне кажется, не женская работа. Всё лучше смерти, Вера. Честное слово.

Они еще поговорили минут сорок — странно, она не спешила переодеваться и укладываться, хотя он несколько раз порывался выйти из купе.

— Подождите, останьтесь.

— Но мы уже через шесть часов приедем...

— Ничего, я мало сплю. А вот скажите, пожалуйста...

— Что?

— Нет, ничего. Так вырвалось. Я у вас хочу ужасную глупость спросить.

— Спрашивайте, — пожал плечами так называемый Трубников, а сам насторожился.

— Нет, не буду. Ерунда, нервы надо лечить. Правильно я говорю? Надо мне лечить нервы?

— По первому знакомству не скажешь, — сказал Трубников и прокололся уже непоправимо: — все люди хорошие, когда спят зубами к стенке...

Она даже вскочила.

— Как вы сказали?

— Это выражение, — опустил он глаза. — Что вы, простых вещей не знаете?

— Ничего я не знаю, — сказала она, — ничего... Ну ладно, выйдите, я переоденусь.

Ночью, само собой, он не спал: стоило ехать в отпуск, чтобы спать! Как говорится, там отоспимся... И она тоже ворочалась, садилась на полке, долго, с мучительным любопытством смотрела на него — он физически чувствовал ее взгляд, всегда ощущал его, мог с закрытыми глазами сказать, в какой позе она сидит рядом. Никогда, ни с кем не бывало такой полноты понимания, а без нее все словно выключалось. Однажды, в самом начале, он на что-то обиделся и неделю с ней не разговаривал, запретил себе звонить, отвечать на звонки, думать... Все так о ней напоминало, что вычеркивать вместе с ней пришлось половину знаний, умений и привычек — это после полугода знакомства! Каково же ей теперь было без него, в каком узком мире она, должно быть, очутилась — ведь, запретив себе воспоминания, чтобы уж вовсе не рехнуться от боли, она об-

речена была лишиться всего прошлого, кроме школьного, всех мыслей, кроме простейших... Господи, спасибо за это жалкое послабление, за отпуска, да и то не навсегда, а пока кто-то тут помнит, — но это ведь, если вдуматься, дополнительная пытка. Нет, нет, с этой безжалостной волей я никогда не смирюсь — даже теперь, когда отлично знаю, что мы преувеличиваем Господне всемогущество, что многое зависит не только от него, что есть вещи — неизлечимые болезни, например, — которые посылаются совсем другими силами, и нет кого-то одного, кто отвечал бы за все. Иначе, конечно, этому одному нельзя было бы простить ни тех последних недель, когда он действительно мечтал об эвтаназии, ни тех первых дней, когда она осталась одна, а он продолжал все понимать и видеть.

Он лежал в темноте, закрыв глаза, никак не умея освоиться в неловком, тучном теле, внезапно захваченном в Москве на сутки, — и чувствовал, как худая светло-русая женщина рядом все крепче закусывает губу; такую вещь в темноте не разглядишь, но чувство, чувство куда денешь? Оно и в теле нелепого Трубникова не оставляло его. Дурацкая какая фамилия — Трубников. Впрочем, и Мальцев — тоже так себе.

— Если вы что-то знаете и молчите, — сказала она вдруг еле слышным шепотом, — это такая вещь, которая хуже убийства. Понимаете? Я сразу, как вошла, поняла, что вы что-то знаете. И эти словечки, и вообще. Ничего общего, конечно, но ведь не обманешь. Я почти увере-



на. Вы наверняка, наверняка знаете. Я вас очень прошу. Я вас у-мо-ля-ю. — Он отлично знал эту детскую манеру скандировать по слогам. — Я никому не скажу. Но бывает же, да? Если вам нельзя, то вы можете хотя бы намек какой-то... хотя бы привет, да?

Привет он однажды передавал, было дело. Был отпуск у Серегина, несчастного, сутулого мужика, которого помнил сын. Сыну не было до Серегина никакого дела, он помнил его, так сказать, пассивно, безэмоционально. И так называемый Трубников тогда сказал: чего тебе парня смущать, ты лучше зайди, пожалуйста, на улицу Юннатов, дом такой-то, отнеси букет. Положи у двери в квартиру тридцать два. Серегин отнес, но любопытство пересилило — он позвонил в дверь, стал говорить какие-то глупости, что-то про благодарного анонимного клиента... Очень хотел посмотреть, из-за кого так называемый Трубников так убивается. Посмотрел — ничего особенного, ни кожи, ни рожки; а Верку потом три дня успокаивали, ревела безостановочно...

— Вера, — спокойно сказал Трубников, — чего вы не спите, а?

Он физически ощутил волну невыносимой тоски, наплывающей с соседней полки. Он только что зубами не скрипел. Сказать было нельзя ничего, ни слова — мало того, что отпуска бы лишили, вообще сделали бы такое, по сравнению с чем и последние его тутошные недели показались бы раем. Там есть такие изощренные способы, которые здесь и в голову не придут.

— Да, простите, — быстро сказала Вера. — Да уже и приехали почти.

— Чего-то я бормотала ночью во сне, да? — спросила она холодным, розовым, снежным новгородским утром, когда поезд подкатывал к вокзалу.

— Не помню, — сказал так называемый Трубников. — Я, знаете, сам иногда во сне... Даже до крика доходит, если кошмар.

— Нет, мне кошмары не снятся. Мне сплошная радость снится. А проснешься — и тогда кошмар.

— Ничего, Вера, — сказал Трубников. — Всёлучше смерти, помните об этом, ладно?

— Удачи, — сказала она.

Трубников некоторое время смотрел ей вслед. Надо было, однако, торопиться. Он быстро пошел в зал ожидания и уселся на скамейку. «Шике-шике-швайне», — пела Глюкоза. Шике-шике швайне сидели вокруг, позевывали, читали газеты. В эту секунду так называемый Трубников любил их невыносимо, потому что пребывать среди них ему оставалось не более минуты, а расставание предстояло не менее чем на год. Он закрыл глаза и с искренним сожалением покинул неприятное тело Трубникова.

Валентин Трубников, придя в себя, долго еще сидел на скамье в зале ожидания, пытаясь понять, как это его, приличного человека, начальника планового отдела, отца двоих детей, занесло в Нижний Новгород холодным январским утром. Бывают такие удивительные провалы в памяти, вроде и не пил ничего. Он не

очень хорошо помнил, что с ним было в последние сутки, с тех самых пор, как чужая убедительная воля порекомендовала ему ненадолго заткнуться и принялась бесцеремонно распоряжаться его телом, паспортом и бумажником. Кстати, бумажник. Он заглянул туда и обнаружил обратный билет на дневной поезд. Быстро позвонить жене. Странные, необъяснимые случаи, наверняка отравление или цыганка. А иногда, читал он, вообще находят со стертой памятью, одинокого, потерянного, тоже где-нибудь на вокзале: как он попал в какой-нибудь Комсомольск-на-Амуре, совершенно не помнит. Определенно повезло.

Конечно, повезло, думал Мальцев, удаляясь от Трубникова. Это, знаешь, как в анекдоте про поручика Ржевского — «Некоторые так на березе и оставляют». А тебе, дураку, попался еще вполне цивилизованный отпускник.

## БИТКИ «ТОЛСТОВЕЦ»

Коробов из окна купе отлично видел, как на шее у противного попутчика повисла худая, черноволосая, очень серьезная девушка лет двадцати двух. Он видел, как она неслась по перрону, чтобы в последние пять минут успеть что-то такое ему сказать на прощание. Он видел также, что у нее были отчаянные глаза — глаза влюбленной женщины, которая сама не понимает, что с ней происходит, и напугана этой внезапной переменой. Коробов знал этот тип хороших домашних девочек, столкнувшихся с большой любовью — чаще всего к полному ничтожеству — и разрушивших свой уютный мир за неделю. Иногда из них получались грандиозные роковые женщины, но это два-три случая из сотни. Остальные ломались непоправимо. Девочка была замечательная, в том и обида. Он привычно бросил взгляд на ее правую руку и обнаружил кольцо. Не сняла, значит. У попутчика кольца не было. Впрочем, это еще ни о чем не говорит.

Противность попутчика заключалась даже не в том, как небрежно он поприветствовал Коробова — и как аккуратно вешал плащ; не в том, что, выходя на перрон покурить

и подождать свою красавицу, прихватил портфель, опасаясь, видимо, оставлять его наедине с Коробовым; даже и не в том, как приглаживал волосы перед зеркалом, окидывая себя напоследок придирчивым взором — достаточно ли я гладок и невозмутим, чтобы попрощаться с любящей женщиной, а вот мы еще прорепетируем это особенное выражение лица, слегка брезгливое, с которым сильные мачо моего класса реагируют на любое проявление чувств... Противность была в общем неуловимом самодовольстве, налете блатного хамства, от которого лощеные персонажи так и не могут избавиться, несмотря на все уроки хорошего тона, пристойные пиджаки и лучший парфюм. Главная добродетель дворовой шпаны — неколебимо серьезное отношение к себе — сквозила во всем, хоть Коробов и наблюдал будущего попутчика всего три минуты. Крутой мэн вошел, небрежно кивнул, повесил плащ, присел к столу, помолчал, забрал портфель и вышел курить на перрон, куда к нему скоро прибежала черноволосая, вот и весь материал для наблюдений, — но люди мы опытные, седьмые зубы съедаем, нам и этого достаточно. Потом, выбор экспресса тоже о чем-то говорит. Не в «Красной стреле» едем, в этом пределе советских мечтаний и образце красного шика, а в «Льве Николаевиче», стилизованном под тот самый, который оборвал страдания Анны Карениной. Только идиот мог обозвать поезд «Львом Николаевичем» — ведь все главные злоключения в жизни графа нашего Николаича были связа-

ны именно с железной дорогой: на ней угробил любимую героиню, по ней пустил ездить идиота Познышева из «Крейцеровой сонаты», по ней сбежал из дома, на ней и помер. В «Николаиче» было много прочей безвкусицы — портрет графа на паровозе, в лучших традициях агитпоездов, битки «Толстовец» из говядины (хотя всем известно, что с шестидесяти граф был упертым вегетарианцем), проводники в поддевках, с намасленными проборами, — родное сочетание невежества, шика и квасной любви к национальному достоянию. Выбрать такой экспресс мог только понтистый и тупой малый, которому не жаль трехсот баксов за билет до Питера; ладно я — я здесь не по доброй воле, так решили организаторы, а вот он...

Попрощались, успокоилась, отплакалась; долгим умоляющим взором смотрит в гладкое квадратное лицо, ничего не говоря. Господи, подумал Коробов, до чего я завистлив! Можно подумать, что меня никогда так не провожали. Провожали сколько угодно, и ничем хорошим это никогда не кончалось. Но снисходительная вальяжность, с которой он гладит ее по волосам, глядя при этом поверх ее головы — вероятно, в свои блестящие финансовые перспективы... Ясно же, что перед нами мелкий деловар, едущий в Питер варить дела. Сейчас тебе будет поездочка, сынок.

Попутчик вошел, вагончик тронулся, черно-волосая успела постучать в окно (Коробов предусмотрительно отвернулся, хотя что она там разглядит, снаружи-то...), разбиватель сердец

небрежно ей помахал, удобно устроился за столиком, соизволил наконец протянуть ладонь и представиться:

— Сергей.

— Николай, — соврал Коробов неизвестно зачем.

— А ничего экспрессик, да? Могут, когда хотят.

Сейчас он скажет, что дела налаживаются, что в стране не стыдно стало жить. Лояльный бизнесмен новой генерации. Не сказал: играл в благородную сдержанность. Видно, однако, было, что его распирает счастье. Ему хотелось поговорить. Только что он получил от жизни очередное подтверждение своей блистательной крутизны, а как же. Какие девушки бегают нас провожать, какими отчаянными глазами на нас смотрят, хоть уезжаем мы небось на три дня. Как-то они тут будут в эти три дня без нас, без которых вон и небо над Москвой плачет...

— Жена? — спросил Коробов, кивнув на окно.

— Подруга, — расплылся Сергей, и Коробов понял, что попал в тему. Попугчик именно об этом желал побеседовать, в тоне легком, снисходительно-небрежном; кто вообще поймет эту вечную тягу влюбленных рассказывать о своем счастье? Мы тут гадаем, отчего так много стало рекламы — и в прессе, и по телику; а бабки ни при чем, объяснять все бабками могут лишь убогие материалисты. Дело-то в счастье: нужно им поделиться. Вот какие у нас чисто отбеленные трусы, и столь же отбе-

ленные зубы, и длинные ноги, и экспресс «Николаич»! Мы размещаем свою рекламу вовсе не потому, что хотим привлечь ваши сердца, зубы и иные органы к нашей продукции; мы делимся счастьем, восторгом обладателей, потому что иначе лопнем!

— Хороша, да? — спросил Сергей с неожиданно глупой улыбкой, и из-под квадратной маски успешного человека выглянул дворовый простак, которому повезло.

Коробов солидно кивнул и показал большой палец.

— Переживает, — сказал Сергей.

— Надолго в Питер-то?

— Да неделя всего. Но мы привыкли, что каждый день... Я даже сам чего-то психую.

— Ладно, из-за недели-то...

— Там муж, — сказал Сергей веско.

Коробов насторожился.

— В смысле у нее муж? И что, знает?

— Догадывается. Совершенно ее измучил, падла.

— Ну так за чем дело стало? Она еще молодая, времена, чай, не толстовские... Что «Анну Каренину» устраивать? Поехал, поговорил, объяснил, увез...

— Не хочет, — сокрушенно сказал Сергей. Чувствовалось, что эта ситуация удивляет его самого: к нему, такому прекрасному, — и не хочет. Другие в очередь выстраиваются, пятки лижут.

— Что, ребенок?

— Ребенок бы ладно, ребенка я бы взял. Хуже всё. Порядочная очень.



Ага, ага. Знаем и этот тип. Как спать — так пожалуйста, но как привести ситуацию к некоей ясности — так порядочная.

— Что, бросать не хочет?

— Ага. Говорит, он не переживет.

— Знаешь, — доверительно сказал Коробов. — Ничего, я на ты? Знаешь, мы всегда преувеличиваем чужую неспособность обходиться без нас. По себе знаю, сколько раз влипал вот так.

— Да я ей говорил! — горячо сказал Сергей. Видимо, с такими интонациями он убеждал партнеров по бизнесу, и только если не помогало, прибегал к прямым угрозам. — Я говорил: что он, ребенок? Что за тема, вообще? И я понимаю, если бы там что-то... Но ведь пустое место, неудачник! Вообще по нулям! Ты видел, как она одета? Я знаешь как ее бы одевал?

Коробов не просто видел. Он знал, как она одета, это совсем другое дело. Он вообще уже много чего про нее знал.

— А так я ей даже купить ничего не могу! Он увидит — сразу расспросы: откуда бабки?! Она редактор на ток-шоу, ей самой неоткуда взять. А он вообще какой-то... по пиару там чего-то... Зато пишет. Никто не печатает, а он пишет. Писатель. Как она задержится — он в крик, в слюни... Я вообще не понимаю, что это за мужик.

— Бывают такие, — со знанием дела кивнул Коробов, поощряя попутчика к откровенности.

— А она говорит: не как все. Особенный, да? Она говорит, что если уйдет, то он вообще всё, с катушек.

— Чем же она думала, когда за него выходила? — поинтересовался Коробов.

— Да ничем не думала, четвертый курс... Чем они все думают...

— Ну, может, в кровати что-нибудь особенное? Знаешь, бывает и такая привязанность, через это... — Коробов подмигнул и достал из сумки бутылку «Хеннеси».

— В кровати там... — Сергей усмехнулся. — Я знаю, короче, что там в кровати. В кровати я бы как-нибудь... переиграл бы. Нет, он на жалости держит. Истерики всё ей устраивает. То орет, то клянется: я без тебя... на второй день повешусь...

— Но не бьет хоть?

— Какое бьет... Если бы он ее раз ударил, я бы выследил и всё оторвал бы.

— А что, познакомить вас она не хочет?

— Ты что, она сразу в слезы... Она серьезная вообще, с ней легко не может быть. Я думал сначала — так, ну, разово. А потом оба влипли — ты что. Она вообще не из этих, что обычно... Я вообще у нее всего третий, представляешь? Двадцать три года, и третий, да?

Воистину, в беседе с попутчиком мы бываем откровенней, чем на исповеди.

У Сергея настырным модным звоном заявил о себе телефон. Он мельком глянул на определившийся номер и сделался суров.

— Да... Да, малыш. — Коробов еле удержался от победительной улыбки: он знал, точно знал, что будет «малыш»! Варианты: маленькая, сладенькая. Возможна зая. — Да, нормально. Я тоже, малыш. Нет, я позвоню сразу.

Да. Да. Слушай, малыш, ну что неделя? Это же три дня и еще три, а на четвертый уже я. Да. Нет, не вздумай. Не надо. А что ты ему скажешь? Да нет. Ну, может, я сам вырвусь... Ну всё. Це-лю-лю.

— Что, к тебе хочет? — понимающе улыбнулся Коробов.

— Да, говорит, что вырвется... А куда мне там с ней? Я по делам еду.

— Будешь? — Коробов продемонстрировал этикетку.

— Давай... Надо бы пожрать чего-нить.

— Так нажми кнопку, они прямо в купе принесут. Я не хочу в ресторане толкаться, там бычня, быдляр...

Фразой насчет быдлярка Коробов думал купить его окончательно — и не ошибся. Люди типа Сережи обязательно должны были чувствовать себя утонченнее себе подобных. Об этом они все и пишут свои «Духлессы»: мы тонкие и с чувствами, а вокруг нас отвратительный быдляр трет свои терки, разводит разводки, парит парки и снюхивает дорожки. Конечно, мы не хотим толкаться среди быдлярка, и нам лень идти через три вагона. Мы сейчас закажем в купе, и халдей, от рождения предназначенный для удовлетворения наших высоких потребностей, принесет нам в горячих судках с запотевшими изнутри стеклянными крышечками две порции битков «Толстовец» с любимой графской цветной капустой и в соусе бешамель.

Под коньяк и битки «Толстовец», в самом деле принесенные через каких-то десять минут, Коробов узнал еще кое-что, хотя «уз-

нал» — не совсем то слово. Он получил подтверждения, потому что все знал и так. Муж был старше нашей героини, до этого успел развестись, отличался мелочным, придирчивым, завистливым характером, ненавидел богатых, по-кухонному ругался на власть. Изводил расспросами и придирками. Первый год заставлял жить со своей матерью, сумасшедшей старухой, училкой на пенсии. Так все и учит до сих пор, причем всех. Удивительно, сколько гадостей успел «малыш» рассказать про своего мужа. Видимо, это была частая тема для разговоров — «малыш» быстро сообразил, что Сережа любит послушать про чужие неудачи, и вовсю старался угодить. Сережа мог хорошо себя чувствовать, только если вокруг него были лохи. Коробов быстро это просек и ненавязчиво дал понять, что у него самого сейчас проблемы — питерские не утверждают проект перестройки Петроградской стороны, все заказы хотят рассовать своим, а он московский гость, приглашенный архитектор... Сергей снисходительно кивнул: ну да, Питер — провинция, размаху нет. Сам он производил соки, да. Выжимал соки из московского пролетариата и упаковывал в картонные коробки. Топ-менеджмент «Бим-бим-дона», слышал? Как не слышать, ежедневно ездим мимо псевдомраморного чуда-юда на Мясницкой с пластмассовым Бим-бим-доном среди веселой стайки пластмассовой же детворы напротив парадного входа. Да и соки-то все разбавленные. Как любимую развести, это мы не можем, а сок — запросто.

Битки оказались недурны. Хорошо быть хозяином жизни. Сережа шиканул, заплатил. Вот мы и покушали за счет Бим-бим-дона. А мы ему еще коньячку. Язык у него развязался быстро, пошли подробности. Подробности, положим, он частично выдумывал, — вряд ли эта девочка способна на такие вещи, как оральный секс в ночном сквере, и вряд ли Сережа способен вызвать у нее такие чувства, чтобы порядочное, домашнее существо захотело экстрима прямо на Тверской, — но, может, он ее подпаивает?

— Нет, ты что. Просто она же раньше не видела этого ничего. В первый раз всё. Я думаю: как бы я ее на Бали свозил! Как бы я ей Венецию показал! Но какая там Венеция? Она вон в Питер не сможет на день вырваться. Она все боится, что он следит.

— Да как он следит? Нанял, что ли, кого?

— Я ей тоже говорю: откуда у него бабки-то? Нету у него бабок, нанимать-то! А она говорит: нет, я чувствую. Он ей мерещится уже. Я ей иногда говорю: смотри, вон Петя! Она прямо дергается вся. А я Петю в глаза не видел, не знаю даже, какой Петя. И фотку не показывает, — захохотал Сережа.

— Да чего там смотреть-то, — кивнул Коробов. — Урод небось. Копирайтеры все уроды.

— Ну! — воскликнул Сережа, горячо одобряя барское презрение к офисной пыли.

— Ну ладно, Серый, — сказал Коробов, разливая по последней. — За тебя, за удачу твою, за малыша твоего... и чтобы все, кто нам мешает, побыстрее сдохли.

Сереза с таким энтузиазмом стукнул тонким «толстовским» стаканом о стакан Коробова, что выплеснул несколько капель на крахмальную салфетку, покрывавшую стол. Он пил коньяк как водку — залпом, не чувствуя вкуса, без похвал, без ритуала, вообще без всего, что придает жизни очарование. Такие люди глотают жизнь, хавают ее, проглоты, жрут кусками, не разбирая ни вкуса, ни запаха; так же они употребляют наших женщин, не умея разглядеть родинки на их плечах, жилки под ключицами, не запоминая запаха их волос, не разбираясь в цвете и выражении глаз. И пусть сдохнут все, кто нам мешает.

— Вместе и сдохнем, — сказал Коробов.

Сереза машинально кивнул, но не успел захорошеть окончательно и потому насторожился.

— В смысле? — спросил он.

— В прямом, — кивнул Коробов, подтверждая: все ты понял правильно, голубок. — Минут через сорок, я думаю. Самое большее час.

На лице Серези отразилась мучительная работа мысли. Он побелел, а ведь какой был красный. Несмотря на сентябрь, в «Николаиче» топили по-зимнему.

— Сто, не дысис? — спросил Коробов фразой из любимого анекдота. — А как дысял, как дысял! Посмотреть на Петю он хотел, голуба моя. На, полюбуйся напоследок. Петя, конечно, лох и не при делах. Но вы же никакие конспираторы, друг мой. Или ты думаешь, у меня в «Бим-бим-доне» своих людей нет? Ты же даже не скрываешься особо.

Сереза выхватил мобилу. Это у них был любимый жест, решение всех проблем.

— А толку? — спросил Коробов, глядя на него в упор. — Ты бы посидел, послушал, может, я тебе чего полезного напоследок скажу...

— Ну? — тяжелым голосом спросил Сереза. Видно было, что ему уже трудно дышать, и он даже слегка сипел.

— Допустим, позвонишь ты своим ребятам в Питер. И допустим, нас там встретят соответствующие люди, — даже если я не успею сойти в Бологом, чего ты предусмотреть не можешь. И чего эти люди со мной сделают? Тут же через час будет два трупа, голуба моя. На хрена мне жить после всего? Ты что, не видел — я ведь тоже пил. Всё по-честному.

Сереза застыл и, кажется, не очень понимал человеческую речь. Коробов пощелкал пальцами у него перед носом.

— Спокойно, спокойно, Серый. Сосредоточься. Ты минут через десять отрубись, надо торопиться. Я хочу, чтобы ты понял. Я не собираюсь убивать тебя одного, всосал? Мы оба тут будем лежать, молочные братья. Знаешь, что такое молочные братья? Это когда оба одну трахают, такое выражение. Я устал от ее вранья, ты понял? У меня в жизни, кроме нее, ничего не было. И если такая, как она, может с таким, как ты, — это означает конец мира, понял меня, Сереза? Поэтому я не буду жить, Сереза. Я не хочу заметать следы, плутать, бегать, вздрагивать от звонков. Понял? Но допустить, чтобы я умер, а ты жил, я тоже не могу, Сереза. Невозможно уходить из мира и остав-

лять тебя его хозяином. Поэтому я здесь, Сережа. А в Питер мне не надо, мне там остановиться негде.

До Сережи доходило. Он наверняка уже прислушивался к себе и ощущал, как холод медленно поднимается по ногам.

В дверь купе постучали.

— Без глупостей, Сережа, — предупредил Коробов. — Да, войдите!

— Десерта не желаете? — осклабясь, спросил халдей. В трактире такой слуга назывался половой. Самое оно, к нашей-то половой крейцеровой сонате. — Имеется бланманже «После бала»...

— С кровью, что ли? — спросил Коробов.

— Что-с? — переспросил халдей.

— А десерта «Воскресение» предложить не можете?

— Нет-с, — огорченно ответил половой. — Еще не придумали-с.

— Это правильно, — кивнул Коробов. — Никакого воскресения не бывает. Идите, любезный, я вас позову, если надо будет. Вот вам «Фальшивый купон».

Половой благодарно принял чаевые. Дверь мягко закрылась.

— А противоядия я никакого не пил, Сережа, — упреждая нехитрую догадку попутчика, сказал Коробов. — Потому что противоядия нет. Ты про батрахотоксин слышал? Сильней кураре, ты что. Выделяется из кожи колумбийской лягушки кокои. В Москве достать не проблема. Есть на Птичьем рынке специалист.



— А вот это прокол, — неожиданно спокойно сказал Сережа.

— В смысле? — насторожился уже Коробов.

— Птичий рынок снесен. Там теперь Калитниковский зооцентр. Москву знать надо, Константин Николаевич, вот что я вам скажу.

Коробов надолго замолчал.

— Нет, я все понимаю, конечно, — сказал Сережа, закуривая. — Вы не против, я покурю? Нас в купе двое, потом проветрим... Все понимаю: Питер, все дела. До знания московских реалий не снисходим. Но если уж вы решили разыграть такой финт, надо как-то, я не знаю, готовиться, что ли. И потом, главный прокол питерских знаете в чем? Высокомерие непростительное. Как ваши к нам понаехали, я сразу заметил. Они же думают, что мы все лохи. «Звездных лабиринтов» не читаем, про «Зеленую смерть» не слышали, «Долину охранителей» в глаза не видали...

Коробов был польщен. Он не предполагал, что его читают менеджеры «Бим-бим-дона».

— Я же сразу просек, — улыбался Сережа. — Ну, думаю, автограф попросить — скучно. Замучали его небось этими автографами. Это вы на «Путника», что ли, ездили?

«Путником», в честь известной трилогии Лукьяшкина, назывался ежегодный подмосковный конгресс фантастов, на котором Коробов и получил от фанов бутылку «Хеннесси». Сам он обычно таких дорогих напитков не покупал.

— На «Путника», — кивнул он.

— Я в этом году не сумел, — огорченно сказал Сережа. — А так-то я фан со стажем. Если б

не вы, я бы по жизни ничего не добился. Топ-менеджеру главное что? Топ-менеджеру главное — полет фантазии. А у вас это дело поставлено.

— Вот ты какой, постоянный читатель, — с тоской сказал Коробов.

— Ага! — не почувствовал иронии Сережа. — Ну, думаю, этот сейчас чего-нибудь учудит! И точно. Как вы Колей представились, так я все и понял. Ох, думаю, сейчас поиграем! Такой автограф получил — лучше не бывает.

— А малыш, конечно, жена, — кивнул фантаст.

— Нет, — грустно сказал Сережа. — Про малыша все правда. Если бы придумывать, я бы посмешней придумал.

— Грустно.

— Да чего грустного... А ничего я вам подыграл, да? В рассказ какой-нибудь вставьте!

— Вставлю, — сказал Коробов.

— А теперь нормального поьем, — сказал Сережа, доставая бутылку «Мартеля». Он нажал кнопку и вызвал халдея. — Слышь, молодой человек! Принеси нам еще этих... «Толстовских». А чего у вас там из холодных закусок?

— Салат «Семейное счастье», — осклабился халдей.

— Ну, тащи, — разрешил Сережа. — Хоть в виде салата на него посмотреть...

## МУЖСКОЙ ВАГОН

В мужском вагоне Крохин ехал впервые. Этого нововведения он не понимал. То есть на самом деле оно было, конечно, в русле всего происходящего, только очень уж как по писаному все происходило. Как будто всей страной разыгрывали дурацкую пьесу, напряженно делая вид, что принимают ее всерьез. Простите, но тут у нас написано «диктатура». Значит, сейчас будет немножко диктатура. Не всерьез, а так, понарошку: закроем это, запретим то и введем отдельное обучение. До него, правда, пока не доходило, хотя отдельные голоса в его пользу раздавались уже года два; ограничились пока основами православной культуры. Но отдельные вагоны уже ввели — пока, конечно, в порядке эксперимента, на избранных направлениях... Крохин ехал как раз в избранном направлении, в славный город Казань, где у него была большая любовь. В Москве, само собой, у него оставалась жена — все как положено; вообще эта коллизия — одна там, другая тут, — была очень под стать вернувшемуся двоюродному. Сколько Крохин ни выслушивал чужих историй, у всех было то же самое, и даже таксист, подвозивший его к трем вокзалам,

успел рассказать ему о сходной ситуации. Он был парашютист-любитель, в клубе летал с любовницей, а дома ползал с женой. Сплошной разврат, в самом деле. Пора вводить раздельные самолеты.

Никаких внятных объяснений по поводу раздельных вагонов железнодорожное начальство не давало. Разве что самые общие: женщинам неудобно при мужчинах переодеваться, мужчинам неудобно при женщинах выпивать... В этом разделении на мужское и женское было что-то омерзительно имперское, очень характерное для государственных заморозков: четкая определенность, свои там, чужие тут. Сплошные антагонизмы: с Западом, с буржуями, с внутренними врагами, теперь вот и с женщинами. Мужчина должен быть мужчинским: защитник Родины, охотник, спортсмен, любитель поговорить о гоночных автомобилях, о рыбалке, в крайнем случае о бабах. Крохин ненавидел все это до рвотных спазмов. Он вообще очень любил женщин, а в мужском обществе скисал — не потому, что в детстве страдал от дефицита мужского воспитания, и даже не потому, что его били одноклассники. Никто его не бил, и отец у него наличествовал, а просто Крохин терпеть не мог доминирования, которым мужчины в России занимались непрерывно. Нормальная практика для замкнутых несвободных сообществ, Крохин как дипломированный социолог отлично это понимал. Женщины вносили в такие сообщества нежелательную разрядку. Мужчины без женщин тут же начинали стре-

миться к максимальной отвратительности, и самый гнусный немедленно становился лидером. Сейчас Крохину предстояло провести девять часов в замкнутом мужском коллективе, в принудительном сообществе четырехместного купе скорого поезда Москва—Новосибирск, и он заранее ненавидел попутчиков.

Он надеялся, что хоть не все места будут заняты, но бывают эпохи, когда сбываются худшие подозрения: в купе, помимо тридцатилетнего Крохина, оказались спортивный бодрячок лет сорока — тугой, белесый, с обтянутым пузцом, худощавый испитой мужичонка с длинным лицом вечного командировочного и огромный краснорожий детина с коровьими карими глазами. Все поздоровались с Крохиным за руку.

— Ну, товарищи, давайте знакомиться, — сказал тугой. — Некипелов Вячеслав, можно Слава. Еду до самого Энска, брательник женится. Будем гулять на свадьбе.

— Каримов, — скучно сказал вечный командировочный. Он ехал в Казань в какой-то трансгаз — Крохин толком не расслышал.

— Крупский, — застенчиво сказал гигант, оказавшийся бодибилдером. Он строил свое тело пятнадцать лет по собственной системе и ехал теперь наглядно иллюстрировать собственную книгу об этом увлекательном процессе. Книга вышла в Москве, в «ГИЗДе» («Гигиена и здоровье»), но казанские магазины запросили серию встреч с автором, и автор покорно ехал.

— Ну, мужики, — радостным голосом затейника сказал Некипелов, едва поезд тронул-

ся, — чего ни говорите, а хорошо без баб! Люблю, это самое, мужскую компанию!

Крохин тоскливо полез на верхнюю полку.

— Семен Семеныч! — укоризненно обратился к нему Некипелов, можно Слава, хотя Крохина звали Борисом. — Ну куда же вы от компании! У нас имеется...

Крохин собрался было объяснить, что пить ему совершенно не хочется, тем более с полужнакомыми людьми, — но понял, что объяснение не прокатит, и покорно слез.

— Вот и отличненько, и отличненько, — с комсомольским задором приговаривал Некипелов. Он был из тех бодрых мужичков, что любят слова «кратенько», «скоренько» и «нормальненько». — А то, знаете, влезла бы щас к нам какая-нибудь цаца — и всё, прощай мужская компания...

— Очень правильно, — грустно сказал бодибилдер Крупский. Он, видимо, успел натерпеться от женского пола. Им всем нужно было только его роскошное тело, а не утонченная, страдающая душа.

Некипелов быстро разлил отвратительный коньяк, перочинным ножом вскрыл нарезку, вечный командировочный Каримов извлек круглую пластмассовую банку с бледной селедкой в укропном соусе, Крупский застенчиво выставил два йогурта и пачку творожку.

— Это вы всегда так кушаете? — поинтересовался Некипелов.

— Для мышечной массы, — виноватым басом пояснил Крупский.

— Ну, со свиданьцем! — воскликнул можно Слава.

Крохин с тоской вообразил, как сейчас в купе вошла бы хоть самая завалышенькая девушка — и все они тут же подобрались бы, оставили отвратительное панибратство, устыдились своей укропной селедки... Каримов постеснялся бы немедленно разуваться и вонять на все купе носками, словно эти неснимаемые носки служили ему во всех бесчисленных разъездах по неотличимым трансгазам... В мужском сообществе немедленно начинало дурно пахнуть, словно отказывали какие-то подсознательные тормоза; перед женщинами еще стеснялись, а друг перед другом чего ж! Некипелов стал рассказывать, как супружница сооружала ему с собой закуски, как она вообще его любит, хотя он в счастливом браке вот уже пятнадцать лет. Каримов слушал с тоскливой улыбкой язвенника. Крупский признался, что еще не женат, потому что в двадцать пять лет уехал в Штаты, только теперь вернулся, основав там скромную бодибилдинговую фирму, и как-то все было не до брака. Зато теперь в рамках правительственной программы «Закал» он отлично вписался в нацпроект «Готовься к службе» (это был новый аналог ГТО). Лозунг «Закал» почему-то никого не смешил — да и что такого, в конце концов? Закалиться, по местным понятиям, как раз и значило с ног до головы покрыться калом — только такой человек считался достойным гражданином...

— Нет, служить все-таки надо, — сказал Некипелов, ковыряя в зубах.

— Точно, — вставил свои пять копеек Каримов. — А то есть которые не служат. А за них дру-

гие служи. Кто за них будет служить? Крестьяне пойдут? И так уже армия не умеет ничего...

— Точно, точно.

— А то, — с горечью продолжал Каримов, — есть такие, за которых родители всё. Куда он такой годится, если всё родители? Развели тут, понимаешь. Я был в Швейцарии, все служат.

— А вы, Семен Семеныч, служили? — вальяжно спросил Некипелов у Крохина.

— Я Борис Андреевич, — угрюмо сказал Крохин.

— Значит, не служили? — истолковал его ответ Некипелов. — По здоровью чего или как? — и он подмигнул Крупскому.

— У меня была военная кафедра.

— А... Ну, эт не служба. Эт игрушки, — припечатал Некипелов. — Я так думаю: если ты мушщина — служи. Мушщина должен. Пусть не два, пусть полтора, теперь вот сделали полтора. Хотя лично я два служил и не зажужжал, — он хохотнул и опять подмигнул Крупскому. — Ну когда еще себя проверить-то? Мушщина должен себя испытать, иначе как ты будешь потом... в разных ситуациях?

— Есть которые не служат, — с затаенной злобой повторял Каримов. Видно, кто-то крепко подсидел его в трансгазе либо отбил бабу, кто-нибудь богатый, с престижными родителями. — Есть которые — всё за них другие делай, а они лежи. Я повидал...

— Ну, а вы, Семен Семеныч, по какой же части? — не отставал Некипелов.

— А вы, товарищ Кипятков? — спросил Крохин.



— Эх вы меня! — хохотнул Слава. — Ущучил, ущучил... Пальца в рот не клади, да? Ну, еще по маленькой. Я, Семен Семеныч, строитель. «Москву-сити» строим, слышал?

— Слышал.

— Ну а то! — воскликнул Некипелов и стал рассказывать, какой фантастической высоты и надежности будет «Москва-сити». Сам он был прораб и потому немедленно начал сыпать техническими характеристиками цемента, кранов и искусственной скалы, на которой все стояло. Часто упоминались немецкие балки. Основную часть будущего Вавилона возводили турки, и Некипелов одобрил их трудолюбие, хотя, заметил он, чурка есть чурка. Правильно?

— Они и в Штатах особняком, — печально сказал Крупский. — Кучкуются там.

— А ты, Саня, Шварценеггера видал? — спросил Некипелов.

— Абсолютно, — кивнул Саня. Почему-то все русские — даже после краткого пребывания в Штатах — вместо «да» отвечали «абсолютно», хотя у американцев Крохин такого не замечал. — Видал вот так, запросто. У меня фото с ним в книге, — он полез в дипломат и выложил глянцевый том, на задней обложке которого обнимал за плечи Шварца и Сталлоне.

— Он чё, нормальный парень? — поинтересовался Некипелов.

— Абсолютно, — сказал Крупский. — Вот как мы с вами, абсолютно. Очень много помогает детям у себя в штате. Его абсолютно любят.

— Есть такие, что помогают, — с той же горькой обидой сказал Каримов. — Наворуют, а потом помогают. Они все помогают, а ты спроси, откуда у него? Благотворители. Они обманывают всех, а говорят, что помогают. Я вот этого доктора знаю, забыл фамилию, который милосердие или что еще. Так он солнцевских лечит, я точно знаю.

Крохин отлично знал человека, о котором шла речь, и знал, что ни к каким солнцевским он отношения не имеет, просто имел несчастье один раз сфотографироваться с их паханом Карасем, когда тот пожертвовал на детскую больницу в Новопеределкине; но теперь, конечно, врачу было не отмыться. Каримов еще минут пять поругал жертвователей, сказал, что всё показуха одна, и пожаловался, что в больнице к нему недавно не было никакого внимания. После этого он долго рассказывал про свой желудок с пониженной кислотностью. Будь в купе хоть одна женщина, он, конечно, постеснялся бы таких анатомических подробностей, но теперь стесняться было нечего, и некоторое время все азартно обсуждали, что делать при поносе. Некипелов рассказал три анекдота в тему, Каримов визгливо смеялся, обнажая длинные зубы, и даже Крупский застенчиво улыбался, лаская всех коровьими глазами.

— А тебе пить-то можно, Саня? — спохватился Некипелов.

— Абсолютно, — кивнул Саня. — Если знать норму, то абсолютно.

— А скока у тебя норма, у такого большого?

— Двести грамм можно абсолютно.

— Вообще, — сказал Каримов, — что ты не женатый, я это, спортсмен, одобряю. Ты это правильно. Ничего хорошего.

— Ну, — подмигнул всем сразу Некипелов, — кое-что хорошее есть...

— Ничего хорошего, — убежденно повторил Каримов. — Они все могут вертеть как угодно, но они непонимающие.

Каримов, видимо, не привык пить, а может, давно не пил из-за своих поносов, и потому сейчас его не на шутку разобрало. Он начал делиться своей философией жизни, а сводилась она к тому, что все постоянно стремятся всех наколоть, обмануть и подставить. Уж на что он все время держал ухо востро, но лично его, Каримова, женщины всегда старались облапошить, предлагая свой сомнительный товар за его деньги и удобства. Если бы в купе была женщина, он постеснялся бы, конечно, этой оголтелой исповеди неудачника, которая в некотором смысле была еще зловоннее, чем разговоры о поносе; от нее тянуло давней неухоженностью и тупой тоской. Некипелов слушал, вставляя сочувственные замечания, но в одном вопросе согласиться с командировочным не мог. Конечно, соглашался он, бабы, безусловно, все как одна думают только об этом и еще хотят денег, и деньгами с ними можно делать что угодно, но если баба понимает в этом деле (тут он подмигивал и цокал), то можно и деньги, и жилплощадь, и что угодно. Большинство баб, конечно, не понимает, но некоторые понимает, и вот у него была одна в Сочи, которая

доводила его до белого каления. Ты представляешь, говорил он Крупскому, она скрипела зубами! Зубами скрипела! Крохин узнал бы еще много интересного, но тут из соседнего купе к ним вломился пьяный дембель, жаждавший общения. Он выходил курить и ошибся дверью, и вот вломился к ним, а когда увидел, что у них есть еще, — не пожелал уходить. Он стал рассказывать про свои пограничные героиства. По его рассказам выходило, что китайцы совершают провокации ежедневно, и многих он взял лично, а с некоторыми пришлось драться врукопашную. Все это он норovil изобразить.

— Они знаешь что? — доверительно спрашивал он у Некипелова, живо смекнув, кто тут душа общества. — Они всю нашу Сибирь... уже практически всю! Они обнаглели, это самое, как я не знаю! У нас на заставе был Иванов во время учений, министр. Руку жал. Он говорил, что направление стратегистическое! Стратегисты...

Крохин три раза порывался влезть к себе на верхнюю полку, но его удерживали. Непонятно, зачем он нужен был Некипелову — ни анекдотцев, ни интересных деталей про зубовой скрежет он не выдавал и ограничивался хмыканьем, даканьем и неопределенным меканьем; видимо, Слава, как всякий истинный затейник, не мог успокоиться, пока не покорит все сердца. Он успел выяснить мнение Крохина о том, что будет с долларом, кто станет чемпионом России по футболу и надо ли выгонять из Москвы всех чурок. Некипелов был уверен,

что надо, а Каримов предлагал сразу посадить, потому что они сплоченные.

— Вот они защищают свои права, — говорил он обиженно. — А почему русские не защищают свои права? Почему у русских в Москве нет организации, которая защищала бы права? Если русские начнут защищать, то это сразу будет фашизм. А когда эти защищают, то это и нормально. Это вам как?

— Русские в Москве — хозяева, — терпеливо сказал Крохин. — Зачем им объединяться и защищать свои права?

— Хозя-яева, — презрительно протянул Каримов и отвернулся, чувствуя бесполезность разговора с таким зашоренным человеком.

— А вы не татарин будете? — простосердечно спросил Крохин.

— Я буду русский, москвич в пятом поколении! — вскинулся Каримов.

— А то фамилия...

— А что фамилия?! — поддержал Каримова пограничник. — У нас был Бульбаш, все думали — хохол, а он татарин!

Каримов долго еще рассказывал, как он вынужден ютиться в спальном районе почти у самого МКАДа, даром что в пятом поколении, и о том, как весь этот район заселен незаконными гастарбайтерами и отвратительными торговцами, которые оккупировали московские рынки и не дают русским торговать; о том, кто мешает русским торговать и оккупировать собственные рынки, он не говорил ни слова. Некипелов горячо его поддерживал, а Крупский сообщил, что в Амери-

ке тоже много чурок, объединенных в мафии, а валят все на русских, подозревают только русских. Стали ругать Америку. Дембель трубно ревел и колотил красным кулаком в стену. Вошел проводник, ласково улыбнулся всем и не стал усмирять дембеля. Вероятно, в мужских вагонах следовало делать замечания кротко, смиренно, а лучше не делать их вообще — целее будешь.

Выпили третью, купленную в вагоне-ресторане (сходить туда вызвался Крупский как младший). Дембель пел. Конечно, при женщине в купе не было бы и десятой доли подобного свинства. Под конец развезло и бодибилдера, принявшегося с остервенелой откровенностью и частыми вкраплениями английских слов рассказывать, как он у себя в Курске любил студентку медицинского училища и как она, фак, ему не дала. Все свои боди-успехи он одержал ради нее, в Америку уехал ради нее, а когда вернулся — оказалось, что она давно замужем за пластическим хирургом. Крупский бы его, конечно, сделал одним мизинцем, но хирурга боялся — вдруг у него скальпель и он чего отрежет? Гигант виновато улыбался, рассказывая все это, но чувствовалось, что хирург для него был кем-то сродни шамана. Он был наделен сверхъестественной силой и мало ли что мог отрезать в честном бою.

С пятой попытки Крохину удалось отделаться от мужского общения. Он лежал на своей верхней полке, слушал пение дембеля, анекдотцы Некипелова и каримовские инвективы, а думал о том, как отвратительны местные

мужчины по сравнению с местными женщинами. Женщины никогда не позволяли себе подобной ксенофобии, не записывали в русские по принципу наибольшей мерзотности, не считали весь мир виноватым в своих бедах, не жаловались на то, что все мужики сволочи, а если жаловались, то исключительно в сериалах; женщины еще читали книги, пусть даже женские детективы — попутчики Крохина и этого в руки не брали; женщины, наконец, были в большинстве своем красивы, а мужчины являли собою паноптикум. В этих грустных размышлениях Крохин задремал, а разбудило его прикосновение небритой щеки и отвратительный дух коньячного перегара в смеси с укропной селедкой.

— Мура моя, Мура, — шептал дембель, — Мура дорогая...

— Какая я тебе Мура?! — шепотом заорал Крохин. В купе было темно, и с нижней полки, наискось от него, доносился чудовищный храп Некипелова. Ни одна женщина не могла бы храпеть с такими фиоритурами, внезапными садистскими паузами, внушавшими надежду, и новыми триумфальными раскатами.

— Мура моя Мура, — продолжал шептать ему в ухо пограничник. — На палубу вышел, а палубы нет... Вручили нам отцы всесильное оружие...

— Тебе чего надо? — без приязни спросил Крохин.

— Всех! — захрипел дембель. — Они нас всех! Придут и всё заселят, я же вижу. А ты лежишь тут, любя моя, и не знаешь...

— Сам ты Люба, — сказал Крохин и отвернулся, но отвратительный небритый чужой человек еще дышал ему в затылок и норовил обнять — без всяких приставаний, в чистом дружеском порыве. Мужское тело было отвратительно. Крохин лежал, вяло отбивался и с невыносимой тоской думал о том, сколько раз его собственное мерзкое тело наваливалось вот так на чистую и нежную красоту, на совершенство, именуемое женщиной; и многие терпели, а некоторые любили! Он понял теперь внезапные приступы отвращения, овладевавшие его Элей вдруг, без всякой причины. По-хорошему, Эле не следовало терпеть его вовсе.

В остаток ночи уместилось много удивительных событий: Некипелов продолжал храпеть, дембель побежал блевать — и не добежал; хорошо, по крайней мере, что не заблевал купе. «Харчами расхвастался», — презрительно проскрипел Каримов. Саня Крупский сказал, что один его друг — он с тщательностью второклассника выговаривал его американскую фамилию — тоже однажды перебрал перед первой брачной ночью и тоже, значит, метнул харчи — ну, не в сам момент, но сразу после, так что невеста подумала, что это она так на него подействовала. Крохин засыпал, слушал буйство дембеля в коридоре и каримовский шепотный монолог — несчастный рассказывал самому себе о том, какие все стали выжиги, а бабы в особенности. Крупский иногда подавал голос, отвечая на каримовские шепотные расспросы о ценах на американскую недвижимость. Зачем Каримов этим интересовался —



Бог весть: ясно было, что покупать американскую недвижимость он не собирался. Просто ему все время надо было чувствовать, что кто-то живет много лучше нас — разумеется, за наш счет.

Среди всего этого шума и зловония, страдая вдобавок от коньячной изжоги, Крохин думал о главном — о том, как он придет завтра к Эле. То есть даже уже сегодня, о Господи. Он придет к ней, в чистоту, опрятность, интеллигентность ее квартиры, — придет грубый, страшный, чужой, ведь они не виделись три месяца, придет, чтобы сделать с ней грубую и страшную вещь — потому что страшно видеть рядом с собой мужчину, примитивную, пошлую особь, озабоченную только доминированием да демонстрацией нажитых комплексов. Мужчина жесток, труслив, циничен. Мужчина отвратительно пахнет. Невозможно даже просто спать рядом с женщиной, а о том, чтобы принадлежать ему, не может быть и речи. Генофонд гибнет из-за мужчин. Одни мужчины храпят и пьют, как наши попугайчики, а вторые умеют только брюзжать и всех ненавидеть, хотя они ничем не лучше... Что я сделал в своей жизни? Я делал женщин более или менее несчастными, и все это время я трепался, занимался никому не нужной и непонятно зачем существующей социологией, маскировал свои изменные желания стихотворными цитатами... Ненавижу! Крохин все мог себе представить — не мог представить только, как женщины терпят этих уродов, примитивных, как два пальца, и зловонных, как авгиевы конюшни.

Утром он долго сидел в скверике напротив Элькиного дома, не решаясь зайти. И просидел бы так еще час, а может, и уехал бы на фиг, ближайшим же поездом, не осквернив и не сломав ее жизни, не навредив ей эгоизмом и комплексами всякого самца... но она, со своей истинно женской интуицией, сразу просекла, что надо поглядеть в окно. В это окно она и увидела его, и сбежала к нему по лестнице, и потащила в дом — не то бы он, конечно, уехал. Но бабы понимают, и потому она ни о чем не расспрашивала его.

## МИЛЕДИ

Независимая, состоятельная, молодая, красивая, пышноволосяя, худощавая, длинноногая, изысканная, изящная, профессионально успешная женщина Татьяна по прозвищу Миледи — а как вы хотите, чтобы окружающие трансформировали фамилию Милетинская? — ехала в Москву из Петербурга в комфортабельном, уютном, дорогом, шикарном, отличном купе сверхскоростного поезда ЭР-200, чтобы отметить свое неотвратимое, приятное, зрелое, своевременное, нисколько не огорчительное тридцатилетие в обществе своего нового красивого, щедрого, молодого, состоявшегося любовника по имени Григорий.

Миледи сидела в купе и думала о себе именно этими словами. Это было нечто вроде профессионального аутотренинга, но, по совести сказать, она и в самом деле встречала тридцатилетие в полном шоколаде. Врут, что большинство женщин боится возраста. Возраст — это компетентность, это право пользоваться плодами трудов, это особая, зрелая, чуть терпкая привлекательность (она так и думала: «чуть терпкая»). Молодость унижительна. Зрелость — ровное, надежное плато, достигнутое

равновесие, и только от нас зависит растянуть его практически до бесконечности. Кроме того, новый любовник Миледи хоть и был младше ее на два года, но совершенно об этом не догадывался: он был главной ее вершиной, тем самым, к кому она шла все эти годы, дегустируя и отвергая предыдущие варианты. К этому человеку можно было бы даже перейти — он уже намекнул на это. Отметить вступление в новый возраст Татьяна хотела именно с ним. Как встретишь, так и проведешь.

В купе она была одна. Думала сначала выкупить второе место, но потом решила лишний раз испытать судьбу. Судьба в последнее время подбрасывала ей подарок за подарком — повышения, знакомства, проекты. Миледи передвигалась по жизни в ауре всеобщего завистливого обожания, ловила на себе восторженные взгляды и не снисходила до того, чтобы отвечать на них благодарной улыбкой. В конце концов, все это было должное, заслуженное. Тут и таилась прелесть возраста: спелые, так сказать, плоды. Страшно вспомнить, сколько она комплексовала в юности. Теперь уже ничьи резкие слова и грубые замечания (проистекавшие, понятно, от зависти) не портили ей настроения — она научилась игнорировать их. Но ждать подарков от судьбы не переставала — вечная азартная девочка, Диана-охотница. Так думала она о себе: да, Диана-охотница. Беру, что хочу. Вот сейчас войдет прелестный мальчик, или опытный зрелый мужчина, или увлекательный творческий че-

ловец, телеведущий или Сергей Минаев, и дорога превратится в еще одно приключение, а Григорий никогда ничего не узнает. Жизнь надо воспринимать именно так — как череду легких праздников, веселых авантюр и увлекательных... она задумалась, подыскивая третье слово, и тут дверь купе отъехала в сторону, и глазам Миледи предстал ее бывший муж Прохоров.

— Здорово, Таня, — сказал он, отдуваясь. Прохоров был полноват, но это его не портило — мог себе позволить при почти двухметровом росте. — Не ждала?

— Прохоров?! — изумилась Миледи. — Здравствуй, я очень рада! Какие бывают удивительные совпадения!

— Да, да, — сказал Прохоров. — Прямо как в «Космо». Поздравляю тебя, Таня, с днем рождения.

Он уселся напротив и угнездил на коленях дипломат, но никакого подарка оттуда не извлек. Вот тебе и судьба, подумала Миледи. Разумеется, никакой речи о возобновлении отношений и быть не могло, Прохоров был исчерпан и отброшен еще три года назад, да и брак длился всего пару лет, — но занятно было посмотреть на него с высоты своих прекрасных тридцати. В нем что-то было, да, что-то надежное, мило-медвежковатое, — но он, конечно, сильно отличался от двадцативосьмилетнего щедрого, состоятельного, состоявшегося, веселого, белозубого, безукоризненно одетого, благоуханного, свежего (нужное подчеркнуть — нет уж, давай все вместе) Григория.

— Прекрасно выглядишь, Таня, — сказал Прохоров с мягкой улыбкой. — А я вот, видишь, все один и выгляжу не очень хорошо.

— Ну что ты, Прохоров, — очаровательно улыбнулась Миледи. — Ты очень, очень славный. Я часто вспоминаю тебя. Мы были друг для друга необходимым этапом. Я благодарна всему и ни от чего не отрекаюсь.

— Да-да, — рассеянно кивнул Прохоров. — А у меня после тебя все не очень хорошо. Ты видишь какая, а я, прямо скажем, не ахти...

«И впрямь не ахти», — подумала Миледи с явным удовольствием.

— Ну, не надо опускать руки, — сказала она. — Никогда не поздно реализовать свой шанс. Ты всегда был недостаточно позитивен, а ведь всё в наших руках.

— Ну да, ну да, — снова кивнул Прохоров, вытащил недорогой, некрасивый, немодный потрепанный, неинтересный, ненавороченный мобильник и набрал номер.

— Уже здесь, — сказал он в телефон. — Да, да, все отлично. Ну, привет.

Через несколько секунд дверь купе опять отъехала — они как раз пролетали мимо Купчина, — и взору Миледи предстал Паша, которого тут не могло быть ни под каким видом. Паша два года назад, с тех самых пор, уехал за границу. Он написал ей, что у него всего два варианта — или убить ее, или убить себя; но поскольку на самоубийство он пока решиться не может, то предпочитает мягкий его вариант, а именно Швейцарию.

— Ой, Паша! — воскликнул Прохоров. — Какая удивительная встреча!

— И то сказать, — кивнул Паша. — Прелестные бывают совпадения. Здравствуй, Коля.

Мужчины пожали друг другу руки.

— А ты гляди, с кем я еду-то! — радостно сказал Прохоров.

— О-о-о! — воскликнул Паша. — Ты едешь с Таней! Вы опять вместе?

— Что ты, Паша, — кротко сказал Прохоров, потупившись. — Разве Таня теперь снизойдет до меня... Видишь, я какой... Я старый, и толстый, и немодный... Нет, я оказался здесь для того, чтобы поздравить Таню с днем рождения.

— Еще одно удивительное совпадение! — с некоторым гнусоватым подвыванием ответил Паша. — Я здесь ровно для того же, йа, йа! Натюрлихь! Дорогая Таня, я поздравляю тебя с наступающим днем рождения.

— Спасибо, — суховато ответила Миледи. Ей переставал нравиться этот парад удивительных совпадений. — Очень приятно, мальчики, что вы встретились как друзья.

— Ну теперь-то что же нам делить? — искренне изумился Паша. — Теперь мы, конечно, друзья. Мы все теперь веселые, позитивные друзья... я присяду, дорогие ребята? — Он плюхнулся на мягкий диван рядом с Прохоровым. — Дружба — такое удивительное, прекрасное чувство... оно, мне кажется, даже больше любви. Как ты думаешь, Коля?

— Нет, — сказал Прохоров и решительно покачал головой. — Нет, как хочешь, Павел, а я не соглашусь с тобою. Я буду с тобою спорить. Любовь провоцирует нас подчас на чудесные поступки, мы сами потом не можем понять,

что это на нас нашло... Вот, например, узнав, что Таня любит тебя, я сжег твою книгу в ванной. Вообрази. Там на обложке был твой портрет. Сначала я проткнул тебе глазки и ушки, а потом сжег на хрен в ванной. Прости, Паша.

— Ерунда, — сказал Паша. — Я даже ничего не почувствовал. Зато теперь мы друзья, и это прекрасно.

— Зато Таня почувствовала, — сказал Прохоров. — Правда, Таня? Ей было очень приятно. Когда она об этом узнала, она очень смеялась, очень. Вообще, мне кажется, ей нравился наш тройственный союз...

— Только когда ты не напивался, — резко сказала Миледи.

— Да, да, я напивался, — покаянно кивнул Прохоров. Она сразу вспомнила эту его манеру — шутовские покаяния вместо того, чтобы сделать хоть шаг к реальному изменению ситуации. — Я вообще чуть не спился, когда ты ушла, Таня. Точнее, когда ты выгнала меня. Правда, мы купили квартиру вместе, но ты сумела мне доказать, что любой суд встанет на твою сторону...

— Это так и было, — заметила Миледи.

— Я пил довольно долго, — продолжал Прохоров. — Но потом, как видишь, взял себя в руки и попытался начать все сначала. Это было не очень легко, но постепенно удалось.

— Я рада за тебя, — совсем уж неприязненно сказала Таня. — По-моему, ты выбрал не лучшее время для выяснения отношений.

— Да мы ничего не выясняем! — воскликнул теперь уже Паша. — Мы встретились в одном



купе, и это очень приятно! Правда, оно двухместное, но мой друг Коля пригласил меня зайти в гости, и вот я тут с коньячком. — Он извлек коньячок. — Знаешь, Таня, я тоже тебе очень благодарен. Потому что после изгнания Коли мы были с тобой так чисто, так безмятежно счастливы целую неделю! Пока я не заглянул в твою электронную почту. Представляешь, до чего ты меня довела?! Ты — меня, писателя, человека строжайших правил! Но я сделал это, Таня: ведь когда-то я сам завел тебе эту почту на Яндекс, я знал пароль, и просмотр твоих писем привел меня в неистовство. Я давно уже замечал некоторое охлаждение в наших отношениях. Кажется, я был тебе интересен только до тех пор, пока у тебя — точнее, у нас — был Коля. Но стоило нам съехаться после колиного переезда к маме, как я сразу почувствовал: ты из тех женщин, кому мало одного! Ты стала холодна. Тебя все стало раздражать. Я не мог, извини, взять с собой в сортир книгу — а без этого какое же удовольствие?! Дело не в этом, конечно... — Он разлил коньяк по походным металлическим стопочкам, Миледи предусмотрительно отказалась, а Коля опрокинул. — Короче, через неделю это началось, месяц я терпел, а потом заглянул к тебе туда. И открылись удивительные вещи! Таня, оказывается, все это время ты любила вовсе не Колю и не меня, а нашего друга Геннадия!

— Алле-оп! — послышалось за дверью, и в следующую секунду в купе вошел, кто бы вы думали, естественно, Геннадий, и это было совершенное уже черт-те что, потому что по-

сле той истории Геннадий свалил в Киев, это я вам совершенно точно говорю, поехал делать украинскую версию своего издания, потому что там теперь свобода. Он сказал, что уходит от несчастной любви в революцию, ибо только революция способна склеить разбитое сердце. И тем не менее это был он, собственной персоной, чуть лысее прежнего, но в остальном прежний.

— А мы тут случайно встретились с Таней, — кивнул Прохоров.

— Представляешь? — подтвердил Паша. — Совершенно случайно!

— Так я шо и говорю, — с комическим украинским акцентом сказал Геннадий. — Я шо и кажу, хлопцы. И я совершенно случайно услышал ваши голоса — дай, думаю, загляну на огонек... Имею сало! — Он достал из-под мышки аппетитный сверток.

— Так и закусим! — возгласил Паша. — Мы как раз вспоминаем, Гена, как я узнал о твоём существовании. Я прочел вашу переписку с Таней, то самое письмо, из которого явствовало, что я оказался совсем не тем человеком. Она теперь очень томилась рядом со мной, я измучил ее подозрениями, ревностью, оказался хуже Коли...

— Трудно, трудно, но можно, — покаянно кивнул Коля.

— Хуже Коли, — со значением повторил Паша. — О Господи, чего я только не делал, прочитав ваши взаимные излияния. Конечно, Таня и тогда писала в стиле женского глянца, причем самого низкого разбора, — но все рав-

но, знаешь, было очень увлекательно. Знаешь, что я тогда сделал?

— Что же ты сделал? — с живейшим интересом спросил Геннадий. На Миледи они, казалось, вовсе не обращали внимания.

— Я написал тебе письмо с описанием своих сексуальных фантазий! — воскликнул Паша. — С ее ящика. Ты, наверное, очень удивился...

— Да, признаться, я немного удивился, — согласился Гена. — Я даже смутился. Я не предполагал в Тане такого бесстыдства. Но я с удовольствием предложил ей попробовать некоторые из описанных ею трюков, после чего в наших отношениях зазмеилась первая трещина.

— Это что! — продолжал Паша. — Я стал бомбардировать ее письмами с твоего ящика. Это продолжалось довольно долго, и ты узнал о себе много интересного...

— Мразь! — воскликнула Миледи. Для нее в этой истории до сих пор было много загадочного.

— Мразь, — согласился Паша. — А ты не мразь. Ты вся в белом. Коля спился, я скурвился, Гена с горя сделал революцию, а ты молодая, красивая, состоятельная, неуязвимая, остроумная, длинноногая женщина в полном расцвете сил.

Тут красивая, молодая, состоятельная (нужное подчеркнуть) окончательно сбросила с себя личину преуспевающей светской львицы и завизжала дурным коммунальным голосом, выдающим ее пролетарское, инженерское петербургское, безотцовское, восьмидесятническое происхождение:

— И это вы, блин, пришли тут ко мне предъявлять претензии?! Вы, которые не могли обеспечить женщине нормальную жизнь?! Импотенты, блин! Лузеры! Я вынуждена была работать, я... Я дальше Праги никуда не ездила! Я одевалась на Сенном рынке! Я состоялась только потому, что вовремя всех вас послала нах!

Три мушкетера покаянно кивали.

— А помнишь, Гена, — ласково улыбаясь, заметил Паша, — как Миледи тебе письмо написала — вот про все это самое? Про то, что ты импотент и тварь, и у нее нет больше сил терпеть твой запах, и у тебя никогда не будет настоящих денег?

— Очень хорошо помню, — кивнул Гена. — Я после этого письма и уехал. Правда, перед этим я на улице человека избил. Меня поймали и сутки держали в ментовке, а потом выпустили с благодарностью, потому что это оказался криминальный авторитет по кличке Перец Тамбовский. Он мог меня убить, конечно, но я, во-первых, этого не знал, а во-вторых, был очень, очень зол.

— Так вот, — сказал Паша, — это письмо тоже я тебе написал.

— Какая же ты сука, Паша, — горько сказал Гена. — Но ты ни в чем не виноват, Таня несколько раз говорила мне подобные вещи... Я чувствовал, что не удовлетворяю ее ни в каком отношении.

— Ребята, не ссорьтесь, — мягко сказал Прохоров. — Я старше вас всех, мне тридцать пять, и я отлично знаю, что удовлетворяет нашу Таню.

— Что, что удовлетворяет нашу Таню?! — взволнованно спросил Паша. Он даже покраснел.

— Нашу Таню можно удовлетворить всего двумя способами, — важно заметил Прохоров.

— Может, я лучше выйду?! — с невозмутимым презрением произнесла Таня.

— Сиди, сиди, — разрешил Прохоров.

— Но мне надо! — сказала Миледи, пытаясь улыбнуться.

— Ссидеть! — рявкнул Паша. — Говори, Колёк.

— Во-первых, наша Таня испытывает наслаждение, когда сталкивает мужчин лбами или выслушивает мольбы и признания от того, кому только что изменила в ближайшей подворотне. А уж когда один из нас бьет другому морду, Таня испытывает такое наслаждение, которого не доставил бы ей и самый чуткий вибратор, не говоря уж о любом реальном самце. Скажу вам правду, хлопцы, Таня ведь не так уж любит это дело.

— Серьезно? — не поверил Гена.

— Конечно. То есть она любит это дело, но так, как ты, Гена, любишь сало. А вот так, как ты, Паша, любишь литературу, — она уважает только одно: возможность стравливать нас, изменять нам, лгать нам и выбрасывать нас вон, как пустые скорлупки. Это первый способ удовлетворить нашу Таню, и признайтесь, что каждый из нас этим способом хоть раз ее удовлетворил.

— Было дело, было, — кивнул Паша. — Я один раз из-за нее стеклянную дверь кулаком разбил, потому что мне было очень груст-

но. И заметил на ее лице гримасу адского сладострастия...

— Кровь не слизывала с тебя? — деловито осведомился Гена.

— Нет, до этого не доходило...

— А с меня слизывала. Когда я головой об стену бился, услышав, что она любит одного финансового аналитика.

— Ну, финансовый аналитик ее довольно быстро бортанул, — заметил Прохоров. — Я собирал сведения.

— Да, но она не оставила дела так. Это ведь по ее письму его взяли — она сообщила, что он вынашивал планы убийства крупной шишки из Минэкономразвития. Я журналист, мне положено знать такие вещи. Но только я понял, каков был истинный мотив...

— Его оправдали! — взвизгнула Миледи.

— Ну, мало ли кого оправдали. Три месяца-то посидел? И посидел?

— Ох, как Тане было хорошо, когда его взяли! — покачал головой Прохоров. — Впрочем, тогда многих брали... и теперь берут... Мы все думаем: почему репрессии? А потому, что таких, как наша Таня, очень много. Просто одни сводят счета за несчастную любовь, а другие за успешный бизнес. На этом фоне наша Таня еще очень благородная девочка, правда, Таня?

Просвистели сквозь Бологое.

— Но есть и второй способ, и ты о нем ничего не сказал! — заметил Гена. — Неужели ты скажешь нам что-нибудь об анальном сексе?

— Анальный секс — хорошая вещь, — меланхолично заметил Паша. — Первый муж на-

шей Тани до сих пор ничем другим не занимается — инсталлятор Кузькин, если помните. Он после Тани решил, что с женщинами дела иметь не нужно, раз они все такие, как Таня. Он теперь имеет дело только с немецким галеристом Шульценом. Хоть кому-то стало хорошо от нашей Тани.

— Да, есть второй способ, — торжественно продолжил Прохоров. — О нем хорошо сказано у Василия Розанова: что можно сделать с Настасьей Филипповной? Только убить! Да, милостивые государи, только убить!

— Это совершенно верно, — кивнул Гена.

— Я тоже так думаю, — поддержал Паша. — Ведь Таня всегда стремится использовать мужчину по максимуму. А максимум того, что может сделать мужчина с женщиной, — это именно убить ее, чтобы она перестала отравлять жизни окружающим...

Миледи побледнела. Она поняла, что дела ее плохи.

— Блин, — сказала она, еле шевеля пересохшим языком. — Плохие шутки.

— Да какие шутки, — невозмутимо ответил Прохоров. — Кто тут шутит-то. По-моему, за три сломанные жизни, плюс украинская революция, плюс отсидка несчастного аналитика Кренкеля, плюс похищенная квартира и бесчисленные депрессии, плюс еще один какой-никакой инсталлятор, сменивший сексуальную ориентацию...

— Достаточно, вполне достаточно, — кивнул Паша. — Еще как достаточно.

— Ребята, — пролепетала Миледи. — Вы

втроем... на девушку...

— О, как я люблю этот аргумент! — провыл Гена. — Мужики, я так часто с этим сталкивался! Пока она на коне, ей все можно, но как только она в луже, сразу: я девушка, я девушка! Небось если бы вас тут было трое, а я один, это бы вас не остановило, так? Когда вы втроем, три стервы, на Клавкином ток-шоу застебали несчастного мальчика из правых сил — это нормально было, так? Это еще был твой шоу-менский период, это ведь я тебя на Пятый канал пристроил, дуру неблагодарную! Ток-шоу «Глядя изнутри», блин! А теперь, конечно, тебе не нравится, когда трое на одну..

— Да чего там! — воскликнул Прохоров. — Ребята, я вам еще и не такое расскажу..

И он рассказал много интересного. Паша тоже рассказал, и Гене тоже было что вспомнить. Миледи была потрясена их вниманием к своей биографии: ведь все они давно исчезли из ее жизни — но вот, оказывается, не перестали существовать, были где-то, делали что-то... Собирали досье... Почти каждый ее шаг придирчиво отслеживался, и этапы ее восхождения от скромной редакторши до владелицы небольшого холдинга были запотоколированы и исчерпывающе объяснены. В изложении Паши, Коли и Гены эта биография выглядела, конечно, несколько грубо, резко, неприятно — но Миледи успела порадоваться тому, как много она успела. В этом страшном мужском мире, где каждый норовит тебя использовать и выбросить, она действовала достойно, жестко, честно, и ей не в чем было себя упрекнуть. Она



была последовательна. Она была достойна того, чтобы о ней написали в «Карьере». Правда, теперь она могла рассчитывать разве что на некролог. Но следовало бороться до конца.

— Я описаюсь, — жалобно сказала она, когда проезжали Клин.

— Дело хорошее, — кивнул Паша и продолжил лекцию. Впрочем, он почти все уже рассказал.

— А теперь, дорогие коллеги, — сказал Прохоров, — давайте, что ли, кончать.

— Пора, пора, Москва скоро, — заторопился Паша.

— Давайте, — кивнул Гена.

— Я первый, — сказал Прохоров. Миледи вжалась в спинку роскошной парчовой, мягкой, бесполезной, не востребованной, последней, как выясняется, кровати в своей бурной, прекрасной, насыщенной, триумфальной, гламурной, безвременно оборвавшейся биографии.

— Я закричу, — прошептала она.

— Кричи, кричи, — разрешил Прохоров.

Миледи заверещала. Распахнулась дверь, и на пороге вырос проводник.

— Чего шумим? — спросил он сурово.

— Да вот... — начала Миледи и осеклась. На пороге купе в форме проводника стоял Кренкель и смотрел на нее с ласковой ухмылкой.

— Типа лильский палач, — сказал Гена. — Давай, аналитик, чайку нам пока сообрази...

— Все схвачено, за все заплачено, — подтвердил Паша. — Мы готовились, Таня.

«Мне конец», — подумала Миледи. Она за-

жмурилась, но ничего не происходило. Когда она наконец открыла глаза, перед самым ее носом покачивался брильянтовый кулон от не знаю кого, пусть читатель по своему вкусу впишет что-нибудь гламурное.

— Поздравляю, Танечка, — нежно сказал Прохоров. — Нам было с тобой интересно. Мы благодарны тебе за самые яркие переживания в нашей дешевой и, в общем, беспросветной жизни. И спать с тобой тоже было довольно приятно.

— Только благодаря тебе нам есть что вспомнить, — торжественно подтвердил Паша и извлек из нагрудного кармана кольцо, от сами впишите кого, с изумрудом цвета Таниных глаз в летний день.

— Ты иногда прелестно острила, — добавил Гена. — Помнишь, мы ездили на Цейлон, в гостинице не было телевизора, только висел на стене странный медный диск, и ты сказала, что это буддийский телевизор? Что хочешь, то и видишь? Я это запомнил, ты так редко шутила удачно... Но уж когда получалось, это запоминалось.

Он порылся в кармане пиджака и достал часики от впишите, кого хотите, но очень дорогие, впишите, сколько не жалко.

Миледи моргала, не в силах поверить своим глазам. Перед нею на столе лежало целое состояние. Ее Григорий никогда не дарил ей ничего подобного.

— Бери, не жалко, — кивнул Прохоров. — Без тебя мы никогда столько не заработали бы. Нам ведь нужна была сильная компенсация за

все, пережитое с тобой и услышанное от тебя. Ты нас разбудила, можно сказать. Теперь мы больше не лохи, не лузеры, а от Гены никогда теперь не пахнет потом.

— Только очень дорогим парфюмом, изысканным, горьким, тонким, нежным, капризным и непредсказуемым, как ты, — сказал Гена и сунул Тане под нос небольшой флакончик. — Это тебе на память, нюхай и помни этот день.

— Спасибо, мальчики, — сказала Таня.

Поезд подходил к Москве.

— Может, поужинаем? — робко предложила Миледи.

— Спасибо, — отказался Коля. — У нас свои дела в городе. Может, когда-нибудь и увидимся.

Они вышли и исчезли в конце вагона, в купе проводника.

Некоторое время Таня сидела в оцепенении. Поезд затормозил у перрона. Она вышла на яркий солнечный свет и подумала, что все в жизни она делала правильно.

И, потрянув головой, веселая, счастливая, красивая, умная, состоявшаяся и состоятельная, с чувством собственного достоинства отправилась потрошить Григория.

## РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Молодой адвокат Максимов забирал из Саратова своего клиента Апраксина, освобожденного прямо в зале суда после трех лет в местной колонии общего режима.

Дело было громкое, Максимов прославился. Он был третьим адвокатом Апраксина, первые двое отступились, хотя обвинение разваливалось на глазах. Максимов встречался с обоими и в упор спросил, почему они в конце концов предали клиента. Первый был вообще назначенный, бесплатный, — Апраксин был так уверен в оправдании, против него настолько ничего не было, что поначалу он даже не озаботился поисками приличного защитника. Этот первый просто ничего не сделал, просил о снисхождении, поскольку ранее подзащитный ни в чем таком замечен не был и по работе характеризовался положительно. Второй был пышный, раскормленный, опытный адвокат Илья Лазаревич, из тех, что по судебной привычке витийствуют везде — в магазине, в транспорте, за столом в доме отдыха.

— Что тут можно было сделать? — картинно разводил он руками. — Я сразу понял, что он не убивал. И я знаю, и вы знаете, кто убивал.

Но вы же знаете, чей он сын? Его неделю поддержали и выпустили, а потом черт дернул нашего героя искать справедливости... Они немедленно его и замели, и всякий бы так сделал. Я бился, как мог, но вы же знаете, как это теперь устроено...

Максимов кое-кому казался выскочкой, карьеристом — он этого и не отрицал: дело Апраксина идеально годилось для удачного дебюта. Мотива нет, орудия убийства нет, с жертвой незнаком, ни в чем дурном не замечен, а взят единственно потому, что очень уж осложнил жизнь следствию. Когда после недели предварительного следствия выпустили главного подозреваемого, у которого-то уж точно все было отлично и с мотивом, и с криминальным прошлым, и с папой-олигархом, — Апраксин кинулся бить в колокола, привлекать правозащитников, шуметь в прессе, и тут его решили приструнить стандартным милицейским образом. Что у нас есть на подозреваемого? Показания двух свидетелей, согласно которым убийца был рослым спортивным парнем, в темноте не разглядишь, но, кажется, брюнетом. Что мы имеем в лице Апраксина? Рослый спортивный брюнет. Мог такой человек ударить покойного Сергея Колычева твердым тупым предметом? Запросто. Где предмет? Где угодно, не принципиально, выбросил. Алиби есть? Алиби, как на грех, нету: никто не знает, что делал Илья Геннадьевич Апраксин, русский, охранник в фирме «Лада-плюс», на протяжении всего дня 15 марта 2004 года. Это был выходной, и свидетелями он как-то не озаботился. Мотив? Личная не-

приянь. Охранник — парень крепкий, задралась, сцепились, удар нанесен профессионально и с большой силой, это гораздо больше похоже на охранника, чем на олигархического сына Шпакова. Сколько там денег перевел Шпаков и кому, покрыто мраком, но сын его был отпущен и немедленно свалил за рубеж, где следы его затерялись. А Апраксин, громче всех шумевший, был взят и обвинен, и добрым молодцам урок. Нечего очернять работу органов. Тем более что и мотив очернительства стал совершенно понятен: истинному преступнику было обидно, что отпустили невиновного.

Максимов стал это дело копать и обнаружил много интересного. Во-первых, следователь сам некогда прирабатывал на шпаковские структуры, был с олигархом связан, вскоре после дела из органов уволился и крутился теперь в автомобильном бизнесе. Налицо корыстный мотив, это мы если и не докажем, то по крайней мере предъявим. Во-вторых, Апраксин отслужил в армии, где пользовался огромным авторитетом, вот характеристика, человек мирный, всегда всех разнимал. А олигарх Шпаков, между прочим, сына от армии откосил, вместо службы Родине тот разлагался по ночным клубам, вот документы о его художествах. В-третьих, девушка Апраксина вспомнила, что 15 марта 2004 года он провел у нее, вот показания девушки, и хотя она теоретически может рассматриваться как лицо ему близкое, но не родственное, не родственное! Что они делали? Ходили в магазин. Вот показания продавщицы и просьба вызвать ее как свидетеля:

Апраксин — рослый красавец, такого не запомнить трудно. Два раза Максимов обжаловал приговор, по первости все оставалось как было, на третий он дошел до Верховного суда, и там, в соответствии с веяниями момента, кассации был дан ход. Шпаков-старший равноудалился в Латинскую Америку еще в две тысячи шестом, Апраксин соответствовал правильному образу молодого патриота, поскольку отслужил, а главное — Максимов раздул грандиозную пиар-поддержку, привлек всех знакомых журналистов, сыграл на теме коррупции и затащил в зал суда двух единороссов, часто пиарившихся где попало. Верховный суд потребовал переследствия, прокуратура держалась насмерть, правозащита ярилась, пресса пестрела — в конце концов враги только того и добились, что дело слушалось не в Москве, по месту преступления и проживания фигуранта, а в Саратове, где он отсиживал. Зачем нам в Москве лишний шум, демонстрации, все такое? Максимов, впрочем, не возражал: в Москве все бы еще непонятно как обернулось, а в Саратове судья попалась принципиальная, настоящая, какие только в глубинке и остались. Дело осложнялось тем, что Апраксин сидел плохо: бунтовал, залетал в БУР, добивался справедливости, писал письма, через родителей передавал потрясающие подробности лагерного быта и вообще стал правозащитным героем, да вдобавок благодаря десантному здоровью не ломался, даром что администрация несколько раз пыталась спровоцировать конфликт и натравить на него матерый крими-

нал. Но Максимов в трехчасовой речи убедительно доказал, что невинно заклепанный во узы так и должен себя вести, и в зале — куда пытались поначалу не пустить публику, но вынуждены были отступить перед разнузданной общественностью — раздались овация, какой обрадовался бы и Плевако. Вокруг Саратова было много зон, каждый третий сидел или привлекался, заключенным сочувствовали. Апраксин и сам по себе был хорош — исхудавший, конечно, и в шрамах от недавних потасовок, но красивый, рослый парень, державшийся интеллигентно и с достоинством. От стражи его освободили в зале суда.

Максимов отбил его у прессы, сунул в заранее подогнанный «мерседес» главы местного телеканала и повез к Волге. Из машины позвонили родителям — оба болели, прибыть не могли: обрадовали стариков, рыдавших в голос. Приехали к Волге, к тайному пляжу, куда не всех пускали, — редактор расстарался в обмен на эксклюзивный материал. Апраксин выкупался, сменил тюремное на гражданское, час сдержанно рассказывал на камеру о нравах тюремной администрации и зверствах актива. Отобедали в VIP-зале ресторана «Рыбный рай»: Апраксин ел задумчиво, крошечными кусочками, большинство блюд оставил нетронутыми, пить не стал вообще, даже за свободу. «Отвык», — сказал он, улыбнувшись несколько по-волчьи.

Адвокат успел хорошо его узнать за те два года, что занимался этим делом. Он взялся за него по собственной инициативе, услышав от



коллеги, все два года навещал Апраксина в зоне, поддерживал надежду, выпытывал детали. Максимов пристально и благожелательно изучал этого парня, ровесника, того же семьдесят седьмого года рождения, из совершенно другой среды, само собой, но приличного, очень приличного. Вытащить его было делом принципа. Он все еще чувствовал себя несколько виноватым перед Апраксиным, хотя и спас его, и вытащил на свободу, и вернул доброе имя, — вообще проделал все, что адвокату удастся раз в десятилетие, если не реже. У многих за всю жизнь не бывает такой удачи. Правда, Максимов теперь был в большой моде — от заказов не было отбою; «хватка волчья», говорили о нем. Между тем ничего волчьего в нем как раз не было — он являл собою законченную противоположность Апраксину: невысокий, полноватый, округлый, кудрявый, сама доброта и любезность.

Теперь они ехали в СВ, в фирменном поезде, билеты на который Максимов купил заранее, не сомневаясь в исходе дела. На столе перед ними стояла большая алюминиевая миска вишен — вишни вместе с миской купили на вокзале. Максимов достал коньячок, предложил, Апраксин пригубил. Темнело.

Несмотря на цивильный костюм, Апраксин выглядел пыльным, серым, стертым. У него было темное лицо — та смуглая бледность, которая часто бывает у людей, загоревших не по своей воле; да и не только от загара он потемнел, а от внутренних своих пожаров. Весь он был словно присыпан пеплом. Видно, его силь-

но там мучили. Освобождение еще не успело до него дойти, он двигался неловко, словно шел по узкому коридору с крашеными стенами: боялся задеть. Сидел неестественно прямо, руки держал на коленях. Было ясно, что путь на волю, к прежней силе и уверенности окажется для него долог и непрост. Больше того: по нему никак нельзя было сказать, что все позади. То ли он не чувствовал себя отмытым, то ли его тяготила неопределенность будущего. Он явно привык ходить по краю, но за это время отвык жить. Впрочем, только так и бывает: кто рассчитывает жить, пусть лучше сразу отказывается от борьбы.

— Вы курите, если хотите, — заботливо повторял адвокат. — Тут можно, проводник приличный.

— Не хочется.

— Илья, да вы не сдерживайтесь, я все понимаю. У вас сейчас будет трудное время, переход к свободе — это гораздо трудней, чем после армии. Потом, весь этот шум. Шум будет обязательно. Вы теперь символ и герой. Обязательно какая-нибудь партия примажется, год предвыборный, на эфир будут таскать — надо ходить. Надо. Вас вырвали из пасти, это редко бывает. Потом, я вам скажу между нами, кресло под прокурором сильно шатается. Сильно. Он надоел и первому, и вообще. Реально ничего не делает, а у нас борьба с коррупцией. Его будут менять. То, что он вас не хотел отдавать и вставлял всякие палки в колеса, — это все припомнится. Сейчас надо бить в эту точку, они же многих вот так берут, как вас. Кого на-

до — отмазывают, а кого хотят — хватают, в основном врагов своих. Думают уже, что все можно. Когда я написал, как вас колотили, — знаете, какая реакция была?! Ну, ничего-ничего, пусть исправляются. Судебная ошибка — ничего себе термин?! Им ошибка, а тут судьба, судьба человеческая! Ничего, теперь работа над ошибками... Чтоб в следующий раз не смели...

— Ну, не так и колотили, — скупой улыбнулся Апраксин. — В армии хуже было.

— Вот это, кстати, тоже рассказывайте, а то вы совсем не упоминаете про это. Если вы расскажете, что еще и в армии сопротивлялись беззаконию, будете совсем герой.

— Я вам очень благодарен, — сказал Апраксин после паузы. — Вы знаете, у меня сейчас нет.. но я отблагодарю.

— Пустяки, Илья, мы же договаривались. Это я ваш должник. У меня теперь отбою нет. Знаете, какая клиентура? На «майбахе» приезжают, не меньше. И дела, между прочим, посерьезнее вашего. С вами-то все настолько было понятно, что я вообще поразился: ну на что они надеялись? Этак можно первого встречного хватать: ни мотива, ни орудия, вообще ничего! Они еще пытались вам личную неприязнь пришить, будто вы знакомы были. Вы же его не видели никогда до этого!

— Не видел, — кивнул Апраксин.

— И свидетели от показаний отказались... Они же опознание устроили против всех правил! Из них просто выдавили эти слова — что вы похожи на убийцу.. «Человек, похожий на

генпрокурора»... Нет, какой кретинизм, даже постараться не могли! Кстати, надо вам сказать, — Максимов понизил голос, хотя в купе никого, кроме них, не было, — этот Колычев... тоже жук еще тот! Его надо бы копнуть, но я не стал — знаете почему? Потому что это обычно производит не лучшее впечатление. Получается, что как бы очерняем жертву. А зачем нам оправдываться, нам надо в наступление идти — правильно? Но я кое-что поглядел — он, во-первых, был в моральном отношении совершенно растленный тип. Это могло сработать, повлиять на публику.. Как раз из шпаковского круга, и они-то уж точно были знакомы, Шпаков ему в долг давал. Это я доказал, есть электронная переписка. В компьютере Колычева нашли, только к делу не приобщали. Но мы же роем так роем! — Максимов самодовольно ухмыльнулся. — Он был из той же компании, хотя рангом, конечно, пониже. И если бы надо — мы бы доказали, что за ним водятся кое-какие штуки покруче наркотиков... Но вы же понимаете — нам надо было не его компрометировать, а вас оправдывать. Мертвые пусть хоронят своих мертвецов, а живые пусть трудоустраиваются, правильно?

— Правильно, — эхом повторил Апраксин.

— Кстати, насчет трудоустройства, — Максимов посерьезнел. — У меня тут есть кое-какие предложения...

— Да не надо, — смущенно сказал Апраксин. — Это уж как-то...

— Надо, надо. Это входит в обязанности — вы не знали разве? Есть же адвокатский ко-

декс: помочь подзащитному трудоустроиться, адаптировать его в мирной жизни, сами знаете, бывают срывы... Вон у вас в колонии был случай — Симачева освободили по УДО, так он через полгода обратно вернулся. Ну, он вор, с него какой спрос, — но я считаю, что защитник обязан был проконтролировать... Я навел тут кое-какие справки — специалист вашего профиля востребован, есть место начальника охраны в приличной фирме, в «Ладе-плюс» вам делать больше нечего, у них сейчас дела не лучшим образом... И потом, мой вам совет: идите вы получать высшее, что вы, честное слово, охранником будете! Я понимаю, тогда надо было родителей кормить и вообще. Но сейчас-то вы свободный человек в свободной стране, жизнь реально налаживается! Реально! Давайте, это самое, двигайте на юридический. Вы теперь по всем законам подкованы, вам будет зеленая улица — не упускайте момент.

— Я подумаю, — глухо выговорил Апраксин.

— Вот и подумайте, я помогу, репетиторы будут. Да вас сама жизнь подковала. Сейчас юридических пропасть, но я вам советую все-таки сначала на вечерний в МГУ, а потом переведетесь. Я заканчивал, и очень хорошо. Все-таки фирма.

— Фирма, — продолжал Апраксин свою эхололию.

— Ну и славненько. На первое время я вам немножко подкину, потому что вы мне такую сделали клиентуру... Ну и вообще, знаете, — я раньше вам не говорил, чтобы вы не расслаб-

лялись, но теперь-то сказать могу, потому что всё уже в порядке. Я знаю, вам еще кажется, что не в порядке, вы даже опасаетесь, что могут дверь открыть и ворваться, но уверяю вас, что имя ваше теперь чисто и ничего не будет...

— Да нет, — улыбнулся Апраксин, — я не опасаюсь.

— Ну, тем лучше. Так вот, я вам хочу сказать, что молодчина вы большой. Вас прессовали изо всех сил, а вы отрицали наотрез, это надо же! Такие люди ломались, а вы и тогда не признали, и потом отрицали, и на суде все было безупречно. Теперь уже можно сказать — в основном мы обязаны успехом именно вам. Нет, я, конечно, не скромничаю, я тоже, знаете, профессионал, — но вы очень хорошо себя вели, очень.

— Спасибо, — сказал Апраксин.

— Чайку?

— Спасибо, — повторил он. — Не надо. Знаете, я тоже вам хочу сказать...

— Ну?

— Я очень вам благодарен. Seriously. Тем более что... знаете...

Он сделал паузу. За окном летела среднерусская июньская ночь, зеленоватая на горизонте, с одинокой крупной звездой.

— Давно хочу сказать, — снова и с нажимом выговорил он, приближая к Максиму красивое волчье лицо. Он даже привстал с полки. Максимов невинно смотрел на него круглыми серыми глазами и поощрительно улыбался. Апраксина это не обмануло — он был уверен, что у Максимова трясутся поджилки. До от-

сидки и еще до кое-каких событий он и в самом деле был тихим, миролюбивым малым, но после 2004 года знал о себе совсем другие вещи. Он мог напугать, если хотел, — тем и спасался.

— Давно хочу сказать... Это ведь я его убил, на самом-то деле.

Апраксин ожидал чего угодно, но не того, что случилось. Не случилось же, собственно, ничего. Максимов все так же улыбался и доброжелательно смотрел на него круглыми серыми глазами.

— Вы не поняли, может быть? — спросил подзащитный. — Я его убил, Колычева.

— Да я знаю, — с той же доброжелательной улыбкой сказал Максимов. — Знаю, Илюша, знаю. Что вы волнуетесь?

— Как — знаете? — спросил Апраксин пересохшими губами. Зря он отказался от чая.

— Да вот так и знаю, не пальцем деланный, — еще шире улыбнулся Максимов. — Я же вам говорю, я кончал юрфак МГУ. Все-таки школа. Нам психологию читал Колокольников Юрий Мефодьич, последний из красных профессоров. Жалко, вы его не слушаете. Очень был серьезный человек. Я все-таки чайку..

— Не надо! — хрипло прошептал Апраксин.

— Что значит — не надо? Вам не надо — мне надо, я в этом рыбном ресторане рыбки перекушал, рыбка водички просит.. Не выдам, не беспокойтесь. Теперь-то уж точно никто не поверит, после эдакого-то триумфа...

Вскоре он вернулся с двумя стаканами, в каждом плавало по утопленнику-«липтону».

— Знал, знал, — приговаривал он добродушно. — В том-то и дело, Илюша... Но вы поймите какую вещь: я вас поэтому и вытаскивал, понимаете? Это был мой, так сказать, моральный долг.

— Ничего не понимаю, — сказал посеревший Апраксин.

— Ну, как вам сказать... Короче, это вы меня должны были убить. А не Колычева. Но по вашей милости я остался жив и решил, так сказать, отдариться.

— Вас? — ничего не понимал Апраксин. — Вас?! Почему — вас?!

— Илюша, — сказал Максимов очень серьезно, и Апраксину показалось, что этот кудрявый пухлый парень, того же семьдесят седьмого года рождения, гораздо старше и сильнее самого Апраксина и может с ним сейчас сделать что-то непоправимое, против чего уже не будет никакого приема. — Послушайте меня внимательно и спокойно. Вы ведь за Наташку его, да?

— Да, — еле слышно ответил подзащитный. На лице его изобразилось живое, почти детское страдание. Он смотрел на Максимова умоляюще, как уже три года ни на кого не смотрел.

— Так вот, — произнес Максимов, глядя прямо в лицо Апраксину своими круглыми серыми глазами. — За Наташку надо было меня.

Апраксин опустил голову.

— У нее ничего не было с Колычевым, Илюша, — продолжал Максимов, помолчав. — А со мной было, к сожалению. Я действительно виноват перед вами, ничего не поделаешь,



но именно тогда я и понял, что хоть что-то в жизни можно исправить. Работа над ошибками, понимаете? Я ведь как тогда думал: ну, есть у нее охранник какой-то тупой. Он ей не нужен, а я как раз. Я ее не любил, Илюша, вы уж простите меня. Это легкий такой был роман, глупость. А у нее оказалось серьезно, вот она вам и ляпнула тогда, в январе. Что хватит, что другой, что прошла любовь и созрели помидоры. Вы ее сдуру за руку, приемом, а этого не надо было делать. Она вам поэтому и не сказала ничего. А вы тоже молодец, конечно, с этим Колычевым... Почему вы на него подумали — я понимаю. Он к ней давно подкатывался. Но она меня тогда любила.

— Тогда?

Апраксин посмотрел на него с ненавистью и надеждой — Максимов сроду бы не подумал, что такое сочетание возможно.

— Да, — кивнул он, — тогда. Теперь не любит. Теперь она ждет вас, и я надеюсь, что у вас обоих хватит ума прожить нормальную хорошую жизнь, в которую я так по-подлому вторгся.

Апраксин молчал.

— Это бывает, Илюша, — мягко, как врач, продолжал Максимов. — Со всеми бывает. Бывает, что любит женщина, очень любит, по-настоящему... и вдруг помрачение ума, смятение чувств, ерунда всякая... Если с нами бывает, почему с ней не может? Она мне, правда, говорила, что у вас не бывает. Что вы такой... ну, в общем, действительно такой. Прямой. Вы должны ее простить, это ведь она меня заставила взяться за дело.

— Что ж она мне не написала ни разу? — с тяжелой злостью спросил Апраксин.

— А боялась, — с готовностью ответил Максимов, — боялась, и кто бы не боялся? Кто ж думал, что вы его убьете. Вы и не звонили ей больше, с января-то...

— Не звонил.

— Ну вот. А сами готовились как тщательно, а! Я восхищался прямо. То есть просто молодец. Вы же четко просчитали — у Шпакова с Колычевым конфликт, это вам приятель рассказал, охранник «Пятой комнаты», которая потом сгорела. Хорошо, что сгорела, кстати: никакой был не клуб, а чистый бордель. Шпаков ему в долг дал, Колычев не отдавал, Шпаков, идиот, трезвонил об этом повсюду.. Он сейчас, кстати, знаете где? В Венесуэле, с папочкой. У Чавеса в советничках — ничего, да? Путь олигарха! Оттуда-то не выцарапают.. В общем, хорошо придумано. Вы только того не учли, что его отпустят сразу. Тут у вас нервы и сдали. Это нельзя. Нервы знаете какие должны быть? Вот как сейчас у вас...

Апраксин угрюмо улыбнулся.

— Кстати, Наталья-то молодцом, — частил Максимов. — Алиби устроила, все вспомнила, все придумала, никуда вы с ней не ходили, конечно, но продавщицу-то мы организовали, это не проблема. Короче, она хорошая девочка, серьезно. Но я вам, Илюша, буду очень благодарен, если вы ее теперь заберете назад. Честное слово. Надоела ужасно. Все-таки из совсем другого круга.

Они посмотрели друг на друга в упор.

— Ждет, между прочим, — добавил Максимов. — Квартиру сняла. Очень волнуется. Сдаю с рук на руки. В полном порядке. Уже год как ничего не было, все-таки это совсем не мой тип.

Максимов замолчал, Апраксин тоже. Апраксин вдруг расхохотался, Максимов тоже. Он разлил коньяк по пустым чайным стаканам.

— На брудершафт, — сказал он радостно. — Молочные братья все-таки!

Выпили залпом.

— И еще одно, — сказал адвокат, морщась.

Апраксин стремительно поднял голову и тревожно уставился на него.

— Да так, ерунда, — успокоил его Максимов. — Просто этот... Колычев-то... Действительно страшная был сволочь. Между прочим, у меня в свое время Таньку увел. И всё, с концами. В Амстердаме теперь, сучка. Так что за него тебе отдельное спасибо. Все ты правильно сделал, парень.

Они расхохотались и выпили снова.

## АНГАРСКАЯ ИСТОРИЯ

Для таких женщин существует отвратительное слово «ладная», но как скажешь иначе? «Крепкая» применительно к женщине — еще хуже. Латышев любовался: невысокая, сильная, явно выносливая, наверняка отличная лыжница, маленькие смуглые кисти, никакого, естественно, маникюра, очень темные волосы и брови, широкий чистый лоб, твердый подбородок, глаза чуть раскосые, вообще явная примесь азиатчины — то ли бурятской, то ли китайской, но в Сибири это дело обычное. Держится прямо, улыбается открыто, говорит мало. Он с самого начала чувствовал себя с ней так естественно, словно знал еще в институте, потом надолго потерял и вот встретил. Правда, она была помладше лет на пять. Ее звали Татьяной. Они ехали из Новосибирска в Нефтеангарск — назовем так этот бурно развивающийся город, центр богатого региона, успевший за время нефтяного благоденствия обзавестись спартакиадой и кинофестивалем. Спартакиада проводилась уже во второй раз, кинофестиваль — в третий, Делон приезжал и еле унес ноги от сырьевого гостеприимства, на горнолыжном курорте

в десяти километрах от города прошла недавно российско-германская встреча на высшем уровне, и уровень был да, высший — немцы не шутя поразились размаху. Латышев ехал по делам службы. Зачем ехала Татьяна — он не расспрашивал. Ей, кажется, нравилось, что он не проявлял любопытства.

Он знал этот женский тип — сибирячек, сильных и чистых, иногда переезжающих в Москву, но долго там не выдерживающих. Интеллигенция в первом, редко во втором поколении. В институте берутся за науку с первобытной страстью, с какой вгрызалась в нее когда-то будущая красная профессура. Умеют всё, не брезгают никакой работой, знают сотни хозяйственных секретов, заблудятся в тайге — выживут, заболеешь — выйдут, но сникают от косога взгляда, злого слова, совершенно не способны интриговать, в недоброжелательной среде быстро вянут и вообще отличаются совершенно детской чистотой: черт его знает, как с такими жить. Латышев бы ее, конечно, уболтал — нет проблем; он несколько раз уже ловил на себе ее хитрый, скрытно-одобрительный, чуть не подзуживающий взгляд — ну, что ж ты?! — но вел себя скромно: Сибирь есть Сибирь, московская распушенность тут не прохонже. День-ночь, сутки прочь, поговорить успели обо всем, кроме личной жизни, которую оба старательно обходили; в этой солидарности Латышеву виделся ободряющий намек. Наконец, когда до Нефтеангарска оставалось три часа езды, он понял, кого она ему напо-

минает. Таня сидела напротив в синем спортивном костюме, подобрав ноги — такие девушки везде умудряются расположиться уютно, — и смотрела на него с поощрительным, ласковым любопытством; большое искусство, между прочим.

— Я тут понял, на кого ты похожа, — сказал Латышев (они поразительно легко перешли на ты с первого часа).

— На кого?

— Сейчас скажу. Вообразим фильм шестьдесят — ну, третьего, может, пятого года. Называется, конечно, «Ангарская история». Нефтеангарск только строится, на месте города — сплошной котлован, ГЭС закладывают, все дела. Ты только что окончила Новосибирский, допустим, филфак и приехала сюда библиотекарем, потому что романтика, а строителей надо приобщать к прекрасному. Ты что заканчивала?

— Томский иняз. Неважно.

— Ну, один черт. И вот ты тут библиотекарем при гигантской комсомольской стройке, и сюда приехал я — журналист из Москвы, хлыщ в плаще, от «Социалистической», допустим, «индустрии» или, чем черт не шутит, из самой «Комсомолки». Писать про ваш подвиг. Тебя, естественно, прикрепили ко мне как самую культурную, и ты меня водишь по здешней грязи, с большим энтузиазмом рассказывая: здесь будет кинотеатр «Победа», здесь — универмаг «Победа», здесь — роддом «Победа»... И всюду техника фурычит: фурыч, фурыч! И ты смотришь на меня этак искоса, как бы

проверяя: наш ли я человек? Достаточно ли я разделяю общий пафос? Нет ли во мне московского презрения к трудовому энтузиазму? Вроде нет, вроде я наш парень, невзирая на плащ. А тебе ужасно интересно узнать, как там в Москве. Как там Вася Аксенов с журналом «Юность», все номера которого ты читаешь первой. Я обещаю непременно рассказать Васе Аксенову, какой тут спрос на его сочинения, и даже привезти его к вам при первой возможности. Васе как раз надо набрать впечатлений на «Пора, мой друг, пора». А как там Волчек? А что там Любимов?

— Любимова еще нет, — сказала она.

— Врешь, есть. Он с шестьдесят четвертого на Таганке. А если ты про него и не слышала — мало ли про что можно расспросить? Ты же библиотекарь, все читаешь. А я прямо оттуда. И один раз во время такого разговора я тебя слегка приобнимаю... не бойся, Таня, я ничего не буду иллюстрировать...

— Ой, боюсь, боюсь.

— Не дразни меня, Таня, зверя разбудишь. А потом, на одной из сопок... или я не знаю, что там... в общем, среди относительной природы, не распаханной еще техникой, ты вдруг полуоборачиваешься ко мне вот этак и смотришь оценивающе в своей манере, я неожиданно тебя, то есть ее, целую, и она, то есть ты, не отстраняешься.

— Ага-ага, — сказала Таня. Латышев удержался и не двинулся с полки.

— Ну, потом ты, конечно, потупляешь взгляд и говоришь: «Больше так не надо». «Хо-

рошо», — спокойно говорит московский журналист и продолжает расспрашивать про вашу местную жизнь. А штука в том, что в этой местной жизни в тебя страстно влюблен крановщик... как его звать?

— Допустим, Паша, — сказала она с вызовом.

— Хорошо, Паша. Которому ты даже подаешь надежды. Он хороший парень, этот Паша. Такой надежный такой.

— Фи, штамп.

— Ну а что ты хочешь? Шестьдесят пятый год, «Ленфильм».

— Цветное хоть или черно-белое?

— Нет, цветное, конечно. Но не широкоэкранное.

— А как же ширь тайги?

— Какая тайга, котлован сплошной. Короче, Паша — он действительно питает надежды. Каждый день тебе старается сюрприз устроить или мало ли... Например, ты сидишь, мечтательно заполняешь формуляры, представляешь себе благословенные невозможные города, где никогда не спят по ночам, — оглядываешься, а за окном висит крюк от Пашиного крана, а на крюке букетик, я не знаю, саранок. Растут у вас саранки?

— Они по всей Сибири растут. Но собирать нельзя — они в Красной книге.

— Мать, какая Красная книга? Шестидесятые годы, дикая природа! Он вообще тебя всяко преследует краном, будит тебя по утрам нежным постукиванием крюка в окно барака, вывешивает на стреле транспарант «С добрым



утром, Таня!», водит в кино, а после фильма провожает, приобняв, и долго рассуждает, жизненно или не жизненно. Паша широкий, светловолосый, на нем чуб возможен, у вас еще не было — или уже было, но так, без особого энтузиазма, — и он с планами, серьезными. Предложение делал.

— Облезть!

— А то. И ты вроде даже не отказала. Сказала только, что не раньше, чем через год. Ты что-то чувствуешь, чего-то ожидаешь, — а формально свадьба приурочена к сдаче первого жилого квартала. Бригадир строителей, белозубый грузин Асатиани, задолбал уже своими шуточками про будущее молодой семьи. Он у вас будет посаженный отец, Паша его любимец, все шутят про будущего первого гражданина Нефтеангарска, которого ты произведешь, и вообще вы с Пашей символ счастливого нового города. А ты не чувствуешь окончательной любви, ты знаешь, что бывает как-то еще... да?

— Ну конечно. Тогда же все такие были: хочу того, не знаю чего. И я коротко стриженная, да?

— Почему, не обязательно. Можно как сейчас, с хвостом. Ты же очень чистая, и Паша тебе тоже не велит коротко стричься, как эти всякие стилиаги.

— Стилиаг давно нету.

— Еще как есть! Короче, Паша случайно видел — или кто-то ему донес, — что приезжий журналист хороводится с его девушкой. От-

вратительный лощеный москвич, в плащике. Ну, он покажет мне этот лоск, помажет мне этот плащик! И вот, когда я, проводив тебя, иду по ночному Нефтеангарску к двухэтажной деревянной гостинице «Ангарские огни», с легкой печалью думая о том, что вот и еще одна хорошая девушка, еще один вариант судьбы, и все это никогда не будет моим, потому что мы слишком разные... и только будем друг друга вспоминать как прекрасную нереализованную возможность... иду такой, курю, немного похож на Мастроянни и знаю, что похож...

— Знаю, знаю! — Она даже подпрыгнула на полке. — Из темноты выходит Паша!

— Точно, выходит Паша. Он выдвигается мне навстречу, крупный, надежный, выпимши для храбрости. Если бы бить своего брата нефтеангарца, он бы и без выпивки был храбрый. Но я диковинный зверь, непонятно, чего от меня ждать, — и он насосался и подходит и нагло спрашивает: «Ну чё, товарищ журналист, как в Москве насчет абстракционизму?»

— Это от меня он, что ли, набрался?

— Да, может, и от тебя. «Ну что, как там наше Кикассо? Как наш Матист? Как наши пидорасы? Это они тебя, тварь, научили с чужими девками гулять?!»

— Слушай, как ты похоже показываешь... Даже тошно.

— It's my job. И он заносит крепкий кулак, но это все-таки шестьдесят пятый год, так что

стандартные схемы уже несколько трещат. Уже наш журналист — назовем его Дима — не так прост, уже он изображается не одними черными красками, у него были послевоенное дворовое детство и суровая юность, он сам, может, из барака в Измайлове... И он сжимает Пашино плечо своей довольно-таки железной рукой и делает так, что Паша слегка хрустит и с криком боли и изумления — вот так: «С-э-э-у-к-а!» — оседает в грязь близ гостиницы «Ангарские огни».

— Какой ты храбрый!

— Ну дык. Однако, представь, победа не доставляет мне ни малейшей радости. Я иду к себе в номер с заметно испорченным настроением, раскладываю на столе пухлые от фактов блокноты и начинаю писать в номер. Но я, хотя и не совсем отрицательный, все-таки интеллигент, конформист, все дела. Будучи от природы неглуп и даже почитывая Кафку, я заполняю свои газетные очерки самой дешевой халтурой — вроде: «Еще год назад жителями Нефтеангарска были одни медведи-шатуны. Теперь на свежем зеленом ветру гудят здесь вышки электропередачи и смелые молодые люди строят город, населять который — им»... Сама понимаешь, мне совершенно не до того, но работа есть работа.

— Работа есть всегда, — кивнула она.

— Ну вот. Я курю «Столичные» (что мне еще курить? Я же не шпион, чтобы курить «Мальборо»!), пишу свою халтуру, тру лоб... А в это время — знаешь ли ты, что делает Паша?

— Собирает дружков?

— Нет, какое. Ты ничего не понимаешь в Пашках. Он идет, естественно, к тебе и срывает на тебе злость. Вызывает тебя из твоего барака — а ночь ветреная, август, дело к осени... Ты в пальто, накинутом на ночную рубашку. Он кричит на тебя. Ты пытаешься увещевать: Паша, поздно, мы поговорим завтра. Он ничего не хочет слушать. «Эта мразь... эта тварь московская...» — «Как ты можешь! Ты же совсем его не знаешь!» — перебиваешь ты, не желая слушать поношения, и тут он звереет окончательно. Он ударяет тебя наотмашь по круглой щеке и с проклятиями бежит в сторону родного кра-на — жаловаться ему.

— Сейчас он влезет в кабину и по кирпичику разнесет построенное.

— Нет, ты что, у нас соцреализм. Никуда он не влезет, будет оплакивать свою непутевую жизнь. «Я его все равно убью!» — кричит он тебе, оборачиваясь и грозя кулаком. А ты, и без того настроенная против Паши, который против меня, конечно, не канает, — бежишь ко мне в «Ангарские огни», предупредить. Ты мчишься по грязи в чем была, в пальто поверх ночной рубашки, старуха на проходной тебя пропускает — ты же любимица города, — ты колотишь кулачками в мою дверь, и выхожу я.

— Весь в белом.

— Ну да, я же и статью пишу в галстук. В комнате слоями лежит табачный дым, на столе черновик почти готового очерка «Белозубые люди»... Ты бросаешься мне на грудь, и я ощущаю все твое тело...

— Сквозь тяжелое осеннее пальто. Очень интересно. Дальше мы теряем голову или как?

— Как это мы ее теряем на «Ленфильме» в шестьдесят пятом году? Мы вон в две тысячи седьмом в спальном купе все никак не потеряем, а ты вон чего хочешь...

Он думал, что она отреагирует на почти наглый намек, но она только улыбалась и грызла яблоко.

— А что мы тогда теряем?

— Дальше она шепчет, то есть ты: «Я думала, он тебя убьет». А он, то есть я, смотрю поверх твоей головы, и камера наезжает под музыку Таривердиева, и зритель видит в моих глазах — что бы ты думала? — скуку. Тоску, и скуку, и давнюю опустошенность. Может быть, наплывом даже нарисуетя мокрый перрон, на котором я навеки провожаю странную, распутную женщину-ребенка с лицом Инны Гулая, и никто уже мне с тех пор по-настоящему не понравится, потому что я выжжен изнутри, и только таких действительно любят женщины. Тех, которые сами уже не полюбят никого и никогда. Я же не хотел будить любовь в этой девочке, простой и чистой, как россомаха.

— Россомаха, — назидательно сказала Тая, — толстый зверь, очень вонючий.

— Ну.. как кедр, если тебе так больше нравится. Я укладываю тебя спать, укрываю одеялом... Ты лежишь и мечтательно говоришь, глядя в потолок сияющими черными глазами Татьяны Самойловой: «Я всегда так мечтала...

чтобы я лежала, а рядом кто-то пишет». «Вася Аксенов?» — спрашиваю я с улыбкой. «Или Булат Окуджава», — отвечаешь ты. «А про что ты пишешь?» — спрашиваешь ты после паузы. И просишь почитать тебе вслух.

— И ты читаешь очерк «Белозубые люди», и я бегу топиться в Ангару, — предположила Таня.

— Нет, что я, совсем дурак, что ли? Я читаю:

«Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»

Разбудив вахтершу довольно невежливым толчком, я побранил ее, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Что случилось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему журналисту, да еще с дорожной по казенной надобности!..»

И ты говоришь: «Очень здорово. Только похоже на что-то».

— Это говорит библиотекарь? — презрительно спросила Таня. — После новосибирского филфака? Не смейся людей.

— Да пойми, это говорящая деталь! У тебя от любви все вылетело из головы! Какая тебе «Тамань», когда жизнь, может быть, рухает! И ты засыпаешь совершенно счастливая, а я сижу за столом в пластах табачного дыма и не

могу придумать финал. Ни к очерку, ни к фильму.

— А какой все-таки финал? — спросила она, и Латышев с удовольствием заметил, что голос ее слегка дрогнул. Или она грамотно это сыграла — в Сибири никогда не поймешь.

— Ну, — сказал он, отхлебывая из фляжки, — если это шестидесятые годы, то финал простой. Титр «Прошло полгода». Полуторка останавливается возле почти возведенного жилого квартала. Из полуторки выскакиваешь ты. Может, беременная, а может, нет, — я не уверен в Пашином великодушии, — но это я тебя поматросил и бросил, и ты вернулась из развратной Москвы. А тут как раз бригадир Асатиани. «Ладно, — произносит он. — Как говорят у нас на Кавказе — с кем не бывает». Паша простил, ты вернулась в лоно породившего тебя класса, и случилось главное недостающее обстоятельство: ты хоть и от противного, но поняла, что Паша лучше всех. Финал: ты заполняешь формуляр на номер «Юности» с очередным Аксеновым, потом ненадолго задумываешься и кидаешь этот номер в мусорную корзину. А в окно нежно постукивает огромный крюк с наколотым на него билетом: вечером в вашем клубе выступает ансамбль «Березка»!

— Это какой-то пятьдесят девятый, — недоверчиво сказала Таня.

— Ну, еще кто-нибудь. Иосиф Кобзон с песней «Голубые города», под которую и идут финальные титры.

— Мне так не нравится, — сказала Таня, и Латышев возликовал.

— Ну хорошо, — сказал он. — Вариант семидесятых: тут уже серьезные городские кинодрамы. Завязка могла быть стандартная, а развязка такая, что благородный я улетаю с утра пораньше. Оставив тебе записку «Не делай глупостей». И всю жизнь о тебе тепло вспоминаю, но спасаю тебя для Паши, потому что мне ты совсем не нужна. В это время лишний человек частично реабилитируется, потому что все уже лишние, так ведь?

— И открытый финал.

— Да, трусливый. Тогда все финалы были открытые.

— Но ясно, в общем, что я все равно к нему вернусь. Получается, мне деваться некуда.

— Почему?! — возмутился Латышев. — Есть же вариант восьмидесятых! Это уже засилье женщин во всех сферах жизни, потому что мужики частично спились, частично изверились и вообще настала эмансипация. Деловая женщина: «Москва слезам не верит», «Старые стены», «Время желаний»...

— «Блондинка за углом»... «Странная женщина»...

— Точно! — Он обрадовался: смотрела девка, помнит! — И тогда ты уезжаешь, конечно, со мной. И берешь полный моральный верх. Потому что ты точно чувствуешь конъюнктуру, ты просчитала, что сейчас надо быть в авангарде, на комсомольской стройке, а с нее можно перепрыгнуть в Москву, — и в Москве ты сразу же бросаешь меня, перебираясь к кому-нибудь более престижному. И я тут же оказываюсь в роли Паши, а ты



идешь по жизни маршем и в финале проносишься мимо меня на черной «Волге» и смотришь в рот какому-нибудь модному персонажу так же, как смотрела мне, и когда он тебя жирно целует — с той же невинной интонацией говоришь: «Не надо так больше». Финал.

Он видел, что угадал, что она довольна, что ему попался идеальный слушатель, знающий контекст, — и что одной этой импровизацией на советские кинотемы он добился большего, чем любым подбиванием клиньев. Все получилось. Как писал приятель-поэт — «И, ощущая вашу сдобность, я начал быстро обнажаться, в душе хваля свою способность порой так ярко выражаться».

— А в девяностых? — спросила она задумчиво.

— В девяностых такой сюжет уже невозможен. Советский миф кончился, городов в Сибири больше не возводят.

— Ничего не кончился. Просто в девяностых про это не снимали. А сейчас очень возможен такой сюжет, у нас знаешь сколько строят?

— Да уж знаю, — усмехнулся он. Строить он и ехал — разрабатывать дизайн интерьеров для нового здания мэрии, какому позавидовал бы Музей Гугенхайма.

— И тогда, — сказала она с милым, насмешливым состраданием, сразу выдавшим ее истинный возраст — какое там младше на пять лет, как бы еще и не постарше на пару, — тогда наш бедный друг приезжает в Нефтеангарск из Москвы и видит, что Москва больше ни фигу

не столица. Он рассказывает про Аксенова и Любимова, дай им Бог здоровья, но Аксенов и Любимов давно уже никому на фиг не нужны. Он распускает хвост, но кому здесь нужен его хвост? У страны уже несколько столиц, и Москва не главная. Где нефтянка, там и столица. И живет его Таня не с крановщиком Пашей, а с нефтяником того же названия, и слушает своего Диму, а сама думает: Дима ты, Дима... У них в Нефтеангарске вчера Спиваков выступал, а послезавтра Спилберг прилетает. Паша Диму в гости приглашает, поляну накрывает, кедровой настойкой угощает. Любишь кедровую настойку?

— Не люблю, — сказал Латышев. За окном начинался Нефтеангарск.

— А чего ты обижаешься? — спросила Таня. — Сами виноваты. Кикассо, Кикассо... Может, если б вы сорок лет халтуру не гнали, все бы не с таким треском рухнуло. Были бы сейчас какие-нибудь приличные вещи, кроме нефти. А вы все писали «Белозубых людей» и думали, что сойдет. Ни хрена не сойдет. Вот все Тани и живут с нефтяниками.

Она потянулась и встала.

— Выйди, я переоденусь.

...На перроне ее встречал толстый, лоснящийся самодовольством светловолосый и краснолицый мужик в идеально пошитом костюме.

— Николай, — сказал он, пожимая руку Латышеву. Был, конечно, соблазн сжать его кисть так, чтобы Николай хрустнул, но теперь от этого не было бы никакого толку.

— Как в Москве-то? — спросил он с некоторым пренебрежением. Москва была неизвестно где и ни на что уже, собственно, не влияла.

— Да так, — пожал плечами Латышев. — В последнее время какой-то все абстракционизм.

# ОБХОДЧИК

*Александру Житинскому*

Старцев отряхнулся, оббил снег с валенок, снял тулуп и поставил чайник. За окном темно. Полотно было в порядке, посторонних он не заметил, да и неоткуда было взяться посторонним. Все эти разговоры про диверсантов гроша ломаного не стоили. Поезда сегодня не было, и до конца недели он его тоже не ждал. Зачем поезд? Про вечно бодрствующую армию на границах Старцеву тоже было все понятно. Никому ничего не надо, любой мог прийти и взять, если б нашел, что брать. А если и была какая-то армия — тоже небось состояла из одного дежурного по КПП. Прочие спали в дормиториях, замаскированных под казармы.

Спячка продолжалась вторую неделю — полная, глубокая, трехмесячная, третья по счету. Спали горожане, крестьяне, бомжи, металась во сне интеллигенция, храпели попы, отслужив напутственное молебствие на сон грядущий: «Дажь мне, Господи, в нощи и зиме сей сон перейти в мире, да восстав в апреле от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему и поперу борющие мя враги плотския и безплотныя». Спала власть в под-

земном дортуаре, истинного местонахождения которого не знал никто (хоть и поговаривали, что самая-самая элита инкогнито оттягивается на лыжных курортах — Старцев знал, чувствовал, что никуда они не делись, что никакой курорт не заменит им сна, благодетельного, уютного, снимающего все вопросы). Куда бы они сбежали, на кого оставили страну? Про мистическую связь народа и власти — все правда. Оставишь народ в дормиториях, улетишь в Альпы — и заснешь посреди трассы, отскребай тебя потом. Да и мало ли что тут делается, пока ты бодрствуешь. Нет, спать, так уж всем. И сонная эта эманация была до того заразительна, что один чех, встретившийся ему летом, так и признался: около ваших границ, говорят, народ зевает и спит на ходу. Кофе глушить приходится литрами. Может, это у вас сонные генераторы включены? Да нет, пожал плечами Старцев, какие генераторы. У нас это давно, мы это умеем, это с самого начала было в нашей природе, которой мы теперь наконец перестали противиться.

Спячка выходила выгодной со всех сторон. Производство давно было чисто символическим — так только, чтобы занять руки населения, не участвующего в добыче и экспорте сырья. Жизнь, доказали ученые во главе с министром здравоохранения, заметно удлинялась. Мозг отдыхал. В конце концов Россия — страна рискованного земледелия, нас нельзя судить по американским критериям, у нас в иную погоду на улицу выйти — подвиг, а каждый день ходить на работу, наворачивая

на себя по три килограмма меха, пуха, кожи, смазывая щеки кремом, а губы специальной помадой, — доблесть, сравнимая с зимовкой в Антарктике. Самое интересное, что Старцев ничуть не завидовал спящим. Он не считал свою работу подвигом, ибо выбрал ее по темпераменту, по любви, а не по наводке профтехобразования.

Иногда он спал, разумеется, — не долее шести-семи часов, через два дня на третий. Дело было не в бессоннице, возведенной теперь в ранг бунта, — а в блаженстве, которое он испытывал, бодрствуя посреди спящей страны. Он никогда в жизни не испытывал такой радости — не спать посреди огромного спящего пространства, чувствуя себя не просто его тайным хранителем, но, если угодно, гарантом существования. Вот этот, который спит сейчас где-нибудь за красной зубчатой стеной или, как Сталин во время войны, в самарском бункере, — какой он гарант? В чем его работа? А путевой обходчик Старцев каждый день и каждую ночь обходит свой участок дороги. В этом нет никакого смысла, потому что поезд ходит все реже, а к январю, как в прошлом году, перестанет ходить совсем. И так ведь ясно, что армия не нуждается в подвозе продуктов, потому что во сне не ест. Ну, может, кто-то и ест — двое или трое упомянутых дежурных, — но не целый же поезд они сжирают. Так что все эти экспрессы к границам — чистый пиаровский ход, имитация дежурства, ночной зимней жизни... хотя — для кого имитировать? Кто сунется в это подмороженное болото?

Старцев любил родину — именно за возможность быть зимним путевым обходчиком, который не спит, когда все спят, — но отлично понимал, что она никому особенно не нужна. Разве что самому Старцеву, и то потому, что здесь он мог чувствовать себя хранителем целой страны, а больше нигде.

Телевизор давно показывал сетку под советские военные марши, радио передавало лирические песни из советских же кинофильмов, а Интернета у него в будке не было. Он в нем и не нуждался. Тут были самые необходимые, надежные и прочные вещи: топчан с двумя одеялами, плитка, чайник, стол, стул, шахматы, библиотечка из пятидесяти книг, которые он отбирал за лето и осень, несколько видеокассет, телевизор, совершенно бесполезный, но почему-то создающий уют, и черный эбонитовый телефон для связи с миром. Телефон иногда звонил, но всякий раз, как Старцев брал трубку, до него доносились только попискивания и потрескивания. Он думал сначала, что это его проверяет госбезопасность, уж она-то не спала, — но какой смысл госбезопасности проверять путевого обходчика? Некого больше, что ли?

Спячка была, если вдуматься, совсем неплохим изобретением. Единственная трудность — с воспроизводством населения: залетать можно было только в марте, чтобы родить в первых числах декабря и погрузиться вместе со всей страной в благодетельный сон. Правда, теперь и рожали мало — не то что во дни процветания; но сырье еще кое-чего стоило, а потому страна

продолжала размножаться, хоть и без особенного смысла. Кого плодить-то — сонь? Большая часть населения теперь работала на эти три месяца сна: в ток-шоу обсуждали сны, в НИИ выдумывали безвредные снотворные... Тем не менее умудрялись как-то рожать, тут же отдавая младенцев в младенческие спальни. Дома всю зиму стояли пустые, в них не топили, экономя на солярке: отапливались только дортуары, похожие на многоэтажные парковки. В дортуарах спала вся семья Старцева — мать, отец, жена, двое детей. Старцеву было странно, что когда-то он считал этих людей своей семьей. Первая же зимовка отделила его от них бесповоротно. У тех, кто впадает в спячку, не может быть ничего общего с тем, кто по собственному почину от нее воздерживается. Экстремисты, говорят, тоже все поуходили из семей.

Экстремисты не желали спать и всячески срывали процесс, но их отлавливали и усыпляли принудительно. Напрасно они устраивали марши протеста, апеллировали к Западу, давно на нас плюнувшему, и доказывали, что спячка отнимает у россиян четверть жизни. Население осуждало их единодушно и охотно. Население хотело спать. Пожалуй, только экстремистов и стоило бояться — Лимонов в свои восемьдесят никак не желал угомониться, и последователей у него хватало, но на подрыв поезда пока никто не решался. Иногда Старцеву казалось, что экстремистов выдумали, наняли за деньги — просто чтобы остальным спалось спокойней. Всегда лучше спится, когда



рядом кто-то бодрствует. Он еще в армии заметил: высшее счастье — проснуться среди ночи, услышать, как, ругаясь, встают шоферы на ночной выезд, и радостно провалиться обратно в сон: можно, Господи, не вставать! Это и есть истинный уют.

Раз за день и раз за ночь он по часу обходил свой участок, повторяя про себя: где черный ветер, как налетчик, поет на языке блатном — проходит путевой обходчик, во всей степи один с огнем... Есть в рельсах железнодорожных пророческий и смутный зов благословенных, невозможных, не спящих ночью городов. И осторожно, как художник, следит проезжий за огнем, покуда железнодорожник не пропадет в краю степном.

Это были очень старые стихи. Тогда еще были не спящие ночью города. Скоро рельсы совсем заметет снегом, и Старцеву нечего будет обходить — он уже знал это по опыту двух предыдущих зимовок. Ничего, все равно будет протаптывать дорожку и проходить хотя бы километр. Полезно. В сущности, он не испытывал к спящим никакой враждебности. Легкое высокомерие, не более. В конце концов, человек — обычное высшее животное, и впадать в спячку для него естественно. Он так увлекся самокопанием — нет ли в нем, на самом деле, презрения к человечеству и если есть, то как бы его побыстрее выкорчевать, — что не сразу расслышал стук в дверь, а потом в окно. Ему показалось, что ему показалось. В следующую секунду он бросился к двери и широко распахнул ее.

На пороге стояла очень замерзшая девушка лет семнадцати.

Старцев так обалдел, что в первую секунду не задал никаких вопросов — просто схватил ее за вялую, безвольно висевшую руку в серой вязаной варежке и втащил в теплую дежурку. Удивительно, как у нее хватило сил постучаться. Лицо у нее было бледно-синее, губы белые, выражение безнадежное. Старцев усадил ее ближе к обогревателю и принялся раздевать, растирать, тормошить — нельзя было отпустить ее в беспамятство, сейчас она должна была любой ценой двигаться, разгонять кровь, говорить, соображать. Самое страшное начинается, когда достигнешь цели и решишь, что всё позади. Тут-то от тебя и требуется все мужество, вся сила. Он бормотал ей это, но она вяло кивала и клонила на лавку, и Старцеву пришлось сильно надавать ей по щекам, чтобы во взгляде ее появилось подобие осмысленности.

— Ты откуда? — спрашивал он. — Как ты тут вообще? С ума сошла, все спят, а она ходит...

— Я из Москвы, — сказала она.

— Это что ж, ты пятьдесят километров пешком шла?! — не поверил Старцев. Начало декабря было холодное, страшное, он замерзал на десятой минуте обхода и принимался подпрыгивать, пробегать метров по сто, тереть нос и уши — как она дошла в своей тонкой дубленке?

— Я хотела на поезд, — сказала она.

— Сейчас, сейчас, — суетился Старцев, наливая ей кирпичного чая и доливая в тонкий

железнодорожный стакан пятьдесят граммов из заветного запаса. — Вот, пей, да не обожгись.

Она отхлебнула, поморщилась и чуть не уронила стакан.

— Как тебя звать-то?

— Женя, — почти беззвучно сказала она.

— И чего ты делаешь ночью на дороге?

— Поезд, — повторила Женя. — Я думала, что поезд.

— И куда б ты на нем уехала?

— Не знаю. Но ходит же куда-нибудь.

— А чего ты не спишь-то?!

— А вы кто? — спросила она наконец.

— Я обходчик здешний. Путевой обходчик, знаешь про таких?

— Не знаю, — сказала она.

Она была красивая, он только сейчас заметил это, красивая, хотя и простоватая: такие если что решат, не отговоришь. У нее было совершенно детское круглое лицо, круглые глаза, нос кнопкой. Такого ребенка нельзя было выпускать из дому зимой, но кого же они спрашивают? Уходят, куда глаза глядят, и не удержишь. Такие влюбляются на всю жизнь и никогда не прощают измен, им ничего нельзя объяснить. Лицо круглое, а сама худая. Слава Богу, ничего не отморозила, — Старцев растер ей ноги, уложил под ватное одеяло, силком влил стакан чаю с ромом и уселся рядом. Около часа она пролежала молча, но не спала, а всем телом впитывала тепло. Из нее словно вынули позвоночник — вся сила ушла разом, она и пальцем не могла пошевелить.

Только через час стала монотонно рассказывать, глядя мимо него, — Старцев молча слушал, дивясь ее наивности и тому, что одинокая будка со светящимся окном так издали случилась у нее на пути.

Она была влюблена в экстремиста, уже второй год, влюбилась сразу после школы. Он был ее однокурсник. Учебный год начинался теперь первого апреля и заканчивался первого декабря. Однокурсник был красивый, загадочный, грязный, неухоженный. На третий день знакомства он признался ей, что не спит. Они все в организации не спят, потому что не считают возможным отнимать у себя по три месяца. Организация ей тоже понравилась: романтично, и так странно, что их все ищут, а они так запросто растворены в городе: учатся в институтах, кадрят девушек. Она сама не заметила, как стала везде ходить с ним, говорить только с ним, а потом и спать с ним. Матери с отцом он активно не нравился, и это тоже было романтично.

— Он все рассказывал, как они не спят. Все автобусами разъезжаются по дортуарам, марши там, митинги... проводы... Хрюша и Степашка всех благословляют, из «Спокойной ночи, малыши»... Потом прием снотворного, коллективный. Всем из ложечки, как причастие. А они сбегают. Просачиваются как-то. Там же, знаете, и не досматривают как следует. Ясно же, что все равно тут зимой делать нечего. Все спят. Магазины закрыты. Жрать нечего, в телевизоре один канал армейский. С ума сойдешь за три месяца. Дортуары все равно запер-

ты, буди не буди. Ну разбудишь ты одного, двух, а толку? Они все равно все как под кайфом, разговаривать нельзя... Но Олег — он так рассказывал! Он говорил, что когда все спят — тут самое начинается интересное. Ночная жизнь. Что они на квадрациклах каких-то гоняют. Что по пустому городу устраивают автогонки. Что никакой милиции — делай, что хочешь. И хотя квартиры заперты, но можно иногда залезть. Не то чтобы воровать — они же идейные, не воруют, — а просто вот так залезть в чужую жизнь. Очень интересно. Он мне рассказывал, как однажды ночью залез в антикварный магазин и три дня там прожил среди старых вещей.

Старцев ни за что не хотел бы остаться на ночь в пустой Москве. Электричество в домах отключено, энергия экономится, полусвет и тепло только в дортуарах, да и тепло такое, какого достаточно медведю для спячки: что-нибудь около нуля. Пустые серые улицы, короткие дни, долгие морозные ночи. Даже в Новый год никого не будят — его празднуют заблаговременно, накануне спячки, перед тем, как погрузиться в трехмесячную нирвану. Поговаривают, что рано или поздно научатся транслировать фильмы непосредственно во сне, с помощью специальных электродов, прикрепляемых ко лбу, — но пока не получается. Все лежат и смотрят собственное скучное кино про скучную жизнь, а жизнь наполнена девятимесячной подготовкой к главному празднику. Счастье наступает в дортуаре, после ложки снотворного, в уютном спальном мешке, в со-

знании полной безопасности, в детском, даже и не детском, а пренатальном, дородовом уюте. Спать, пуская слюни; спать, ни за что не отвечая, ничего не делая, ни о чем не помня; спать, как спят в ночном поезде, промахивающем снежные пустые равнины — все равно от тебя ничего не зависит, ты не можешь изменить маршрута, железная дорога потому и называется железной; спи, во сне ты не сделаешь зла, не обидишь, не предашь; спи, во сне ты привыкаешь к смерти, и видишь — ничего страшного. Когда тебя вычли из мира, он не рухнул, не перевернулся. После смерти мы, наверное, тоже проснемся, осмотримся, поймем, что без нас ничего не изменилось, — и снова провалимся в сон, уже окончательно. Это и будет Страшный Суд.

— Ну вот, — продолжала Женя, повернувшись на левый бок и подложив кулак под щеку. — В первую спячку — она вообще была вторая, но у нас первая, — я отказалась с ним остаться. Я пошла и заснула с родителями. А он меня после спячки встретил и еще месяц презирал. Демонстративно с Катькой ходил. Но потом помирились как-то, в парке Горького. Я ему все сны рассказала, а он говорит — дурацкие у тебя сны. Мы, говорит, пока ты дрыхла, устроили тут ролевую игру в блокаду, в вымерший город. Фотки показывал. Я потом только узнала, что он их из Сети скачал и что ничего не было.

— А что было? Что они делали?

— Ничего не делали, — сказала Женя. Старцев подумал, что сейчас она заплачет, но она

сдержалась. Если бы она и плакала, то уж никак не от тоски по своему неухоженному красавцу, а исключительно от стыда. Потому что она поверила, как последняя дура, а верить было нельзя ни в коем случае. Она убежала из дома за день до спячки, испортила родителям Новый год, тайно встретила в лесу с этим своим Павлом и всей его командой и приготовилась к долгой зимовке, запасала, идиотка, консервы... а они, как только отгремели митинги и окончательно успокоилась во сне Москва, побежали в какое-то выселенное здание, где у них, представляете, был устроен собственный дортуар, с автономным отоплением... и полезли в спальные мешки... и наглотались снотворного... и стали спать, как суслики! Пашка, сволочь, первый же захрапел!

Она действительно едва не разревелась, вспомнив, как стояла одна посреди заброшенной пустой школы, которую облюбовала оппозиция для дортуара, как смотрела на их вождя, с довольным похрюкиванием забиравшегося в красный атласный мешок, как все они натягивали толстые вязаные шапочки, как закрывали на молнию мешки, оставляя снаружи только пороссячьи розовые носы, — и как Паша уже сквозь сон ей пробормотал: «Ну что ты как дура! Полезай ко мне! Как ты не понимаешь, нам совсем не обязательно НЕ СПАТЬ. Нам важно СПАТЬ НЕ С НИМИ. Это и есть настоящая оппози... опезо... Кххр...»

— А ведь это он дело сказал, — удивился Старцев. — Действительно умный парень, Паша-то.

Женя посмотрела на него с недоумением.

— Но они же все ввали, понимаете? Нету никаких экстремистов!

— Почему, есть, — усмехнулся Старцев. — Целых двое. Мы с тобой.

— В смысле?

— В смысле мы не спим. А все спят. Какого тебе еще экстремизма?

Только тут она испугалась его.

— А вы почему не спите?

— Да не маньяк я, — сказал Старцев. — Не бойся. Я дежурный по этому участку, путевой обходчик. Слежу за железной дорогой, чтобы поезд ходил.

— А он ходит?

— В последнее время не ходит, — признался Старцев.

— Тогда зачем же вы...

— Ну, не знаю. Просто так. Считаю, что я оппозиция.

Некоторое время они молчали.

— А что, — снова усмехнулся Старцев. — Я вообще-то догадывался. Больно рожи у них были заспанные в апреле.

Женя кивнула.

— Я тоже заметила. Паша опух даже. Говорил, что от холода.

— И что ты делала? — спросил Старцев. — Когда заснули все?

— Да ничего. Пришла в город. Пошла к себе домой. У меня ключ был. Мать мне записку оставила, что я сволочь и все такое. Догадалась. Первое время у меня все было — консервы, печенье. Я отложила в диван и на антресо-



ли еще. А потом чувствую — скоро еда кончится. Магазинов нет. Милиции нет, дрыхнет вся. Где-то очень глубоко дрыхнет, чтобы во сне не поубивали. Ну вот, они спят, а мне что делать? Я вспомнила, что поезд должен отходить на границу, со снабжением. Пошла на Ленинградский, а там никого. И на Ярославском никого. Я на Белорусский, там меня чуть не арестовали. Убежала. Думаю, значит, по рельсам пойду и в дороге перехвачу. Иду, иду, а поезда нет. Замерзла совсем, а назад страшно. Потом вижу — у вас свет, вас издали видно. Километра за три. Еле дошла. Думала, что арестуют, а потом думаю — ну, не убьют же! Лучше арестуют, чем так... в полях, на рельсах...

— Ну, а если б поезд пошел? — спросил Старцев. — Что б ты делала?

— Махала бы, — с недоумением, словно удивляясь собственной наивности, сказала Женя. — Он бы остановился... наверное. Подобрал бы.

— Хрена он тебя подобрал бы.

— Да нет, не может быть. Неужели замерзать бы бросил?

— Ну, может, и подобрал, — буркнул Старцев, не желая подтачивать ее веру в человечество. — Привез бы тебя в часть. А там один дежурный пограничник. Что делать будешь?

— Ну, тушенка-то у них есть какая-нибудь? — спросила Женя. — Нашли бы для меня хоть буханку, нет? И потом, все-таки люди...

— С людьми-то страшной иногда, — сказал Старцев.

— Нет, — убежденно возразила она. — Страшней, чем в Москве без людей, нигде не будет. Там же совсем никого, понимаете? Вообще. Ледяная пустыня. А он говорил — гонки...

Она все-таки разревелась.

— Да не реви ты, — сердито сказал Старцев. — Что такого? Подумаешь, весна скоро. Через два месяца с небольшим, всего-то. Проснутся все. А ты им будешь рассказывать, какие тут гонки.

Эта мысль ее позабавила.

— А мы тут пока с тобой дежурить будем, — воодушевился Старцев. — По очереди полотно обходить. Чаю у меня хватит, ем я мало. Книжки есть. Будем сочинять, чего тут было, пока все спали. Когда тепло, то не страшно. Печку будем топить. Знаешь, как интересно обходить пути? Идешь совсем один, небо бархатное, звезды. Вокруг ни человечка, ни огонька, ни дымка отдаленного. Фонарь у тебя. У меня большой фонарь, красный с белым. Над поло-сою отчужденья фонарь качается в руке, как два крыла из сновиденья в середине ночи на реке... И в желтом колыбельном свете, у мироздания на краю, я по единственной примете родную землю узнаю... И осторожно, как художник, следит проезжий за огнем, покуда железнодорожник не пропадет в краю степном.

— Это что? — спросила она.

— Это старые стихи, неважно чьи.

Он только теперь понял, как ему не хватало второй живой души. Хорошо не спать ночью, а одному все-таки страшно. Лучше, когда не спишь вместе с кем-то. Какое счастье — спать

вдвоем, вспомнилось ему. Да, спать вдвоем, но не спать вдвоем — куда большее счастье! Теперь он не один, и, чем черт не шутит, может быть, не один уже навсегда — нашлась наконец такая, которая тоже не спит зимой. Сама пришла из ночного холода, из пустой Москвы, взялась ниоткуда... Старцев налил себе стакан чаю и стал медленно, блаженствуя, пить.

— А вас как зовут?

— Олег.

— А вы как думаете, Олег, — спросила она смущенно, — он меня простит?

— Кто? — не понял Старцев.

— Ну... Пашка. Что я не легла с ним.

Старцев помолчал.

— Ему-то с чего тебя прощать? — спросил он брезгливо. — За что? Это тебе прощать его надо — за то, что одну бросил...

— Но он же не мог иначе, — убежденно сказала она. — Он клятву давал, кровью подписывался. Он со всеми. Я сама виновата, если не захотела. А так получается, что я его предала.

Старцев не ответил. Потом до его слуха снова донеслось жалобное хныканье из-под одеяла.

— Да простит, простит он! — сказал обходчик. — Куда денется...

— Мало ли что ему там присни-и-тся, — простонало из-под одеяла.

— Да не приснится ему ничего особенного. Чтобы снилось, надо, чтобы в голове что-то было. А что у него в голове?

— Вы не знаете! — возмущенно прохлюпала она.

— Все я знаю, — сказал обходчик. — Спи.

— А вы не будете?

— Я не буду, мне пока нельзя.

Некоторое время он посидел за столом, прислушиваясь к ее ровному сопенью, потом взял фонарь и вышел пройтись. Все правильно, думал он. Если ты кому-то нужен — ты уже не путевой обходчик, а так, дилетант. Было безветренно, тихо, совершенно пусто. Крупные звезды смотрели на обледеневшую насыпь, да летел между ними спутник, посылая в никуда никому не нужный сигнал.

## УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ

Сначала подали заливное из лосося, потом розового, тающего во рту копченого тайменя, лиловый и пряный паштет из дичи, сыр «Охотничий» с зеленью, потом красно-бурую, волокнистую вяленую медвежатину, блюдо очищенных кедровых орехов, ко всему этому «Таежную» на калгане, потом крепкий бульон с круглыми, толстыми, ручной лепки пельменями — опять-таки из лосося, — потом жареный кабаньей бок с капустой, соленой черемшой и моченой брусникой, и Володя Коктельо-Перверте все это жрал. Он жрал, мощно двигая челюстями, одобрительно кивая подавальщицам, подмигивая переводчику, жрал, словно его не кормили во Франции, Германии и Польше, которые он посетил перед российским турне, словно нажирался за всю свою голодную юность, потраченную на постижение верховной мудрости в мансардах Парижа и трущобах Буэнос-Айреса. Европейский писатель изысканно колупнул бы там, понюхал тут и отломил хлеба — и достаточно, но Коктельо-Перверте был латиноамериканец и хорошо знал, что, пока кормят, надо жрать. Потом не будут. Только эта большая школа бурно прожитой жизни и при-

миряла Сыромятникова с Перверте, хотя бы отчасти. Чувствовался человек не только понюхавший, но и хлебнувший.

Прославленный сочинитель эзотерических детективов, покоритель международного книжного рынка, личный друг Мадонны, любимый партнер Пола Маккартни по бриджу, крокету и трансцендентальной медитации, духовник Марадоны, талисман сборной Аргентины по хоккею на траве, регулярный гость Сорбонны, крестный отец внебрачного сына Челентано и крестный сын далай-ламы, принявший в буддизме имя Суттипон Бхатхабратха, что значит, должно быть, настырный лысый проныра с закосами под духовного вождя, — Володя Коктельо-Перверте родился в семье крупного латифундиста, сиречь землевладельца, в 1951 году. Его отец увлекался идеями Ленина и назвал сына в его честь, но, к счастью для Володи, ограничивался теорией, исповедуя на практике хищнический капитализм самого мафиозного образца. Сынок, духовный учитель европейского студенчества, кумир американских кампусов и кубинских компаньерос, унаследовал от папы счастливую способность исповедовать одно и практиковать другое. Отправившись учиться в Париж, он перепробовал там все виды нейростимуляторов и психоделиков, забросил учебу, клошарил под мостами, странствовал по Европе, зарабатывал на жизнь всем — от киднепинга до куннилинга — и был обнаружен встревоженным папашей в амстердамской коммуне маоистов-растаманов, поклонявшихся беременной не-

гритянке, Матери Миров. Папа справедливо заключил, что образование сына закончено, и поместил его на отдых в психиатрическую лечебницу под Буэнос-Айресом, где Володю впервые пронизал так называемый Розовый Свет. Под действием этих теплых волн он записал как бы продиктованный ему свыше первый эзотерический детектив «Смерть бедуина», герой которого, сыщик и мистик Рабан, путешествуя по эпохам и континентам, в конце концов ушучивал мировое зло. Перверте было совершенно нечего делать в комфортабельном заключении, таблетками его пичкали исправно (да, говорят, он вдобавок обольстил красивую медсестру, снабжавшую его также гашишем) — знай читай да галлюцинируй. Он прочел «Тысячу и одну ночь», Борхеса, суффикс, пару популярных толкований Нового Завета — и основал жанр, принесший ему громкую славу. Все двадцать три сляпанных им мистических детектива о странствиях Рабана по Борхесу и суфиям, с регулярными заходами в Ватикан, Мекку, Иерусалим, эпоху крестоносцев и расцвет Венеции, одинаково напоминали рахат-лукум, завернутый в страницу из потрепанной Британской энциклопедии. Однажды Сыромятников купил такой рахат-лукум в Стамбуле и поразился буквальности сходства: вязко, сладко, и ко всей этой липкой экзотике прилипли фрагменты исторического справочника. Однако высоколобые называли Перверте главным латиноамериканским постмодернистом, а массовый читатель скупал «Смерть муфтия», «Украденный Коран»

и «Каббалу святош» в таких количествах, что через пять лет литературной карьеры Володя приобрел психиатрическую лечебницу, где его озарило, и основал там Межконфессиональную школу духовного просвещения. Там изучали его духовный завет народам всего мира — «Настольную книгу Светоносца». Бухгалтерию вела та самая вечно беременная негритянка, которой он поклонялся в Амстердаме.

Сыромятникову досталось все это переводить — в университете он выучил испанский. Сам он тоже писал детективы, и гораздо лучше, чем Коктельо, но они никому не были нужны, поскольку сыромятниковских героев убивали не в Лувре, а в провинциальных гостиницах, и убийцами были не монахи тайного ордена Вольтерьянцев, а доведенные до отчаяния местные безработные. Из его детективов нельзя было сляпать даже сериал. В результате он кормился с Коктельо и перепер на язык родных осин уже шесть его неотличимых поделок, включая только вышедший «Шифр Афродиты». Российская мода на Владимира началась с Макаревича, который познакомился со смуглым толстяком во время дайвинга в южных морях и пригласил в Россию. Он же привез сюда экземпляр «Ежедневника Серебряного Воина» и во время презентации очередного диска показал главному редактору «Эксни». «Эксня» быстро смекнула, чем пахнет, — ей предлагалась вся мировая культура и религия в одном флаконе, пережеванная, отрыгнутая и поперченная, — и скоро широкий хавальник светоносного воина скалился со всех билбор-



дов. Раскрутка пошла лихо, и на пике моды Коктельо был приглашен на снежный Восток мирового духа, как обозвал он Россию в первом же московском интервью. Слоганом поездки стало название нового романа «На Восток!»: Перверте выразил желание проехать по России — от Москвы до Читы, — встречаясь с поклонниками в крупных городах и издали благословляя мелкие. К Восточному экспрессу «Байкальская синь» прицепили салон-вагон, в нем оборудовали роскошное купе для Перверте, купе для мужеподобной секретарши-сербки, еще одно — для женоподобного секретаря-колумбийца (Сыромятников все не мог понять, с кем из них сожительствует воин света), самому переводчику выделили скромную клетушку близ сортира, и под шелканье блицев друг Мадонны отчалил в свое первое русское паломничество.

Он был, в общем, неплохой мужик, отлично знавший цену своей продукции. Облачаясь в расшитый серебряный халат и белоснежную чалму перед остановками в Казани и Новосибирске, Коктельо насвистывал себе под нос что-то революционное, причем с таким хитрованским видом, что Сыромятников однажды не удержался и подмигнул ему. Переводить его тарабарщину было удивительно легко — он нес полную пургу и предоставлял переводчику украшать ее как угодно. «Я не обижусь, amigo, — пророкотал он при первой же встрече, — если в синхронном переводе вы сколь угодно далеко отойдете от оригинала. Положитесь на вашу фантазию, индуцированную присутствием мо-

его могучего духа! Ха! Ха!» — и Сыромятников ни в чем себе не отказывал. «Регулярный пост по четным числам, воздержание от супружеских обязанностей по нечетным, созерцание созвездия Задумчивой Крысы, как называют у нас в Бразилии Большую Медведицу, и прочистка чакр гигиеническим ершиком фирмы «Салем», совладельцем которой я являюсь, поможет вам уже к концу первого года занятий достигнуть Степени Поглощения, от чего только один шаг и полгода тренировок до Стадии Испражнения!» — бесстыдно чесал он, почти не прислушиваясь к болботанию Владимира. Вечерами они прекрасно выпивали в салоне мэтра, благо на его любимый «Джек Дэниелс» издатель не скупился.

— Мой дар предвидения подсказывает мне, молодой друг, — хитро щурясь, говорил Перверте, — что вы и сами пописываете, о да, и весьма успешно. Признайтесь, я угадал?

— Не без того.

— И печатают?

— Плохо.

— Ничего, все с чего-то начинали... Мне кажется, вся ваша проблема в том, сомрапиего, что вы не знаете жизни. Еще Фидель, когда мы охотились в его угодьях, однажды сказал мне: жизнь, надо знать жизнь! Че читал книжки, а я разбирался в людях, — и где теперь я, а где Че? Так сказал мне Фидель, а Фидель хитрый парень. Я постранствовал, о да, я повидал всякого, — и он загибал очередную историю, которой позавидовал бы Максим Горький. Перверте проехал всю Европу, месяц

прожил среди африканских пигмеев, снимал документальный фильм о королевских пингвинах, занимался благотворительностью среди аборигенов Океании, везде дегустировал национальную кухню и оставлял потомство. «Я щедро размазал себя по этому грязному глобусу, так-то, amigo! Жить надо со вкусом, как сказал мне Уго Чавес, отобрав у очередного олигарха всю его собственность. Вот вам тридцать пять, а что вы можете вспомнить?»

Сыромятникову, конечно, было что вспомнить — грязные дороги российской провинции, сотни изломанных судеб и тысячи кислых мин, на которые он насмотрелся в качестве редактора отдела расследований «Трибуны», серые папки одинаковых уголовных дел — копеечные грабежи и многолетние сроки, бессмысленные побег и опять сроки, кража проводов и трансформаторов, развинчивание рельсов, побег из армии, — но из этого нельзя было изготовить даже один бестселлер типа «Завещания Мавра». Почему-то читатель упорно отказывался читать про то, что его окружало, плевать хотел на страдания парализованного соседа и нищей соседки, но проливал реки слез по Изауре, которая жила на другом конце земли, да и то исключительно в больном воображении продюсера.

Коктейль изучал русскую жизнь широко и основательно. На встречах в книжных магазинах он не столько говорил, сколько слушал; Сыромятников переводил ему криминальную хронику из местной прессы; проводниц и подавальщиц он не только исщипал до синяков,

к полному их блаженству, но и расспросил о малейших биографических подробностях, вплоть до начала месячных и привычек све-крови; жадность его к еде, выпивке и впечатлениям была поразительна. С пяти утра он что-то выстукивал на крошечной «Тошибе» с личной монограммой, потом наговаривал на диктофон колонки для двух аргентинских газет (расшифровка лежала на секретаре), потом вносил правку в только что оконченную автобиографию для «Penguin books» (в этом помогала секретарша), потом так же неумоимо обедал и темпераментно давал пресс-конференцию в очередном сибирском городе. Сыромятников дивился его неумности и российской необъятности: Перверте производил страшное количество одинаковой продукции, за окном тянулось страшное количество одинаковой России — по сравнению с компактным Западом ее Восток поражал избыточностью и запущенностью, — и в этом смысле гость и хозяйка были друг для друга созданы. На каждой станции поклонники дарили Перверте сувенир, он раздавал тысячи автографов, не уставая спрашивать имена читателей и на каждой пятой книге рисовать голубка, а вечерами, когда за окном тянулась долгая, хвойная, сырая, без единого огонька тьма, — рассказывал Сыромятникову главы будущей автобиографии. Иногда Сыромятникова тошнило от Коктельо, но, в общем, он был признателен кормильцу.

В прочем экспрессы — не таком роскошном, но тоже элитном — ехали местные власти, чиновники, бизнесмены, не имевшие к литера-

туре никакого отношения, но знавшие, конечно, что к поезду прицеплен салон живого классика. Некоторые, по особому разрешению, заходили познакомиться. В салоне Коктелью побывали вице-губернатор Челябинска, крупный финансист из Екатеринбурга, глава фирмы «Safe Siberia», производящей контрацептивы, и прославленный бывший народный депутат от фракции «Неразрывность», ныне преуспевающий дальневосточный банкир Борис Хайлов — тучный медведь, на фоне которого Перверте выглядел почти изящным. Хайлов долго цитировал «Ежедневник Серебряного Воина», рассказывал о своем духовном пути и о том, как много он жертвует на храмы, а также о том, как стремительно улучшается Россия в условиях централизации. Книги Коктелью у Хайлова не оказалось, и он предложил ему расписаться на плоском животе девушки из модельного агентства «Сибирские огни». Коктелью попросил секретаршу отвернуться и расписался у девушки на заднице, взяв с нее обещание не мыть задницу по крайней мере неделю.

— Интересный человек, — сказал он вечером за стаканом «Джека». — Учитесь, amigo, пока он жив. Что-то подсказывает мне, что осталось ему недолго.

— Такие не умирают, — буркнул Сыромятников.

— Своей смертью — практически никогда, — кивнул Коктелью. — Удивительный тип. Чистая, беспримесная тьма, без единого проблеска. Я думаю, Господь хотел бы вставить

в него душу, но не может найти в этом монолите ни единого воздушного пузырька. Феномен, феномен. Я приберегу его для романа.

— У нас тут таких — каждый второй, — на-ябедничал Сыромятников на родину.

— Ошибаетесь. Перед встречей я изучил его биографию — поручил Розе подготовить для меня сводку... — Розой звали сербку, похожую скорее на ливанский кедр. — Удивительно, где он только не наследил. У вас это ведь часто — что один и тот же управленец рулит во многих сферах? У нас, в Аргентине, в Бразилии, — так не принято. Мы в западный менеджмент не верим. Начальником может быть только тот, кто прошел все ступени и досконально изучил бизнес. А этот кем только не был — военкомом, снабженцем, главным редактором... Нет, это очень интересный тип. Я не хотел бы им быть за все ароматы Аравии. Кстати, рассказывал я вам, как один саудовский шейх подарил мне наложницу, арабку-альбиноску?..

Он рассказывал долго, смачно, с удивительными подробностями, — и отпустил Сыромятникова только в третьем часу ночи, да и то лишь потому, что сослался на легкий понос. «Все-таки, знаете, тяжелая кухня...» Сыромятников слышал утром, сквозь сон, как Перверте грузно топчет по коридору в сортир и, после долгого пребывания в нем, обратно — ругаясь столь художественно, что перевести этот изысканный испанский мат он бы затруднился.

Утром, на подъезде к Чите, в маленьком Краснокаменске, где у Перверте не планировалось ни встреч, ни автограф-сессий, — поезд

остановился надолго. На перрон никого не выпускали. Станция была запружена милицией. По ней беспомощно металась бюрократического вида персонажи в распахнутых пальто, с растерянными и злыми мордами. Наконец из седьмого вагона вынесли на носилках что-то огромное, покрытое белой простыней.

— Я схожу, разведу? — вызвался Сыромятников.

— Что вам неясно? — барственно спросил Коктельо. — Это наш друг, представитель партии «Слипшиесея», хозяин «Трах-бах-банка», или я не предупреждал вас?

— Вы и будущее угадываете? — кисло спросил Сыромятников. Самодовольство этого любимца Рабиндраната Тагора начало утомлять его.

— А как же. Я еще пять лет назад говорил Полу: Пол, ты бросишь Хизер, эта девочка не для тебя. Сначала он смеялся, потом обозлился. А месяц назад прислал мне торт. Если бы он знал меня в восьмидесятом, может, я предупредил бы и Джона...

— Что ж вы этого не спасли?

— Да ведь он знал, — сказал Коктельо. — Он только не знал когда.

Поезд тронулся только около полудня. Коктельо жевал омуля, мечтательно запивая его «Сибирской порфирой».

— Вот вы детективщик, или по крайней мере так себя позиционируете, — буркнул Сыромятников. — Уверен, однако, что доведись вам раскрывать настоящее убийство — вы немедленно спасовали бы.

— Вообще-то, юноша, — назидательно ответил Коктельо, не отводя глаз от тайги за окнами, — повара не охотятся за дичью, а металлурги не ищут руду. Я обрабатываю жизнь, а не переделываю ее.

Эта восточная высокопарность была в нем особенно противна — Сыромятников никогда не понимал, как могут люди со средним образованием покупаться на такую дешевую бутафорию.

— Но поскольку я потерялся среди людей и много всего повидал в бурной юности, — продолжал Перверте, закуривая толстый «Упман», — я легко расколол бы дело средней сложности, если бы мне не мешали. Сейчас в седьмом вагоне идет дознание, целая бригада местной полиции запущена в поезд для выяснения обстоятельств, но уверяю вас — виновного не найдут. Проводник мне поведал, что Хайлову нанесены множественные раны — общим числом семь. Удивительно, откуда проводники всегда все знают. Две раны смертельны — в грудь и в горло. Остальные пришлись на живот, но с его жировой висцеральной прослойкой это — слону дробина. Следовательно? Следовательно, убийца был по крайней мере не один, ибо два удара нанесены профессионалом, а пять — дилетантом. Сошел ли кто-нибудь с поезда между Барановкой, где нас посетил еще живой Хайлов, и Краснокаменском, где его нашли мертвым? За этим никто не проследил, дело было ночью, проводники ленивы. Ищи-свищи теперь этих людей, как и орудие убийства. А между прочим, у нас в руках ключ,



и если бы вы внимательно читали мой «Шифр Афродиты»...

— Я его переводил! — взорвался Сыромятников.

— Переводить — не значит читать. Ваше сердце закрыто, вы не прочистили свои чакры моей книгой. А она стоит того! Вы обратили бы внимание на великую роль чисел в нашей жизни. И запомнили бы, что с начала трудовой деятельности Хайлов сменил ровно семь должностей, на каждой из которых — я специально заметил это! — без устали подавлял и угнетал все живое. Да и должности были соответствующие — на другие его не поставили бы. Он начинал в качестве офицера и дослужился до майора, но потом его выгнали из войск — еще в советское время — за особую жестокость! Это написано даже в его досье, которое есть в Интернете. Он многократно опровергал эту информацию, приводил свидетелей, целовался с бывшими солдатами, которые якобы служили под его началом, — но в глазах солдат плескался ужас, хотя служба давно была позади. О, я подробно просмотрел его досье, меня в самом деле заинтересовал этот парень, ад ему пухом... После армии он сделался военкомом и регулярно выполнял план по аресту уклонявшихся призывников — у вас это практикуется, я знаю. Думаю, на этой должности он нажил страшное количество врагов! За отличные успехи его переводят в партийные начальники — и уж тут он развернулся, без устали искореняя крамолу! В девяностые у вас не принято было этим гордиться, но в прошлом году он поведал

журналистам, что лично довел до суда пятерых подчиненных — это было при вашем гэбэшном генсеке, который... ну этот, в очках...

— Андропов, — кисло сказал Сыромятников.

— О да, antropos... При нем сажали очень много, но почему-то это запомнилось как первое веяние свободы. Немудрено, что с началом свободы наш покойный друг — это был четвертый этап его карьеры — создал кооператив и прославился расправами с конкурентами. Один его компаньон был найден с раскроенным черепом, а у него ведь было трое детей, все мальчики... вы следите за моей мыслью?

— Слежу, — кивнул Сыромятников. — Остались три должности.

— А дальше все просто, — развел руками Коктельо. — В качестве депутата он отказал в помощи десятку больных детей, у каждого из которых был отец. В качестве заместителя главы городской администрации закрыл газету, критиковавшую его, а журналиста, который в этом особенно усердствовал, нашли с пробитой головой — видимо, это его фирменный стиль. Наконец, в прошлом году он добился ареста своего заместителя, который кое-что про него знал, — а у этого заместителя тоже наверняка есть родственники... Во всех этих делах он вел себя с бешеным бычьим напором, у нас таких людей так и называют — рогачами. Его боялись все, но в какой-то момент страх переходит в гнев — такова народная психология. И если у следователя есть на плечах кой-какая головенка, он легко вычислит пересече-

ния нужных множеств. Достаточно узнать по компьютеру, ехал ли в нашем поезде кто-нибудь из призванных им юношей, у которых дома остались больные беспомощные родители. Был ли в вагоне кто-нибудь из посаженных им пятерых чиновников. Выезжали ли из Читы родственники убитого заместителя. И так далее — все это, как вы понимаете, дело одной недели, при наличии расторопных курьеров и регулярного доступа к Интернету. Хочу заметить, что коллективное убийство из социальной мести — весьма соблазнительный мотив, и не исключено, что книгу на этот сюжет я обдумаю уже в нашей поездке. Ее написание не займет много времени. Согласитесь, что схема традиционного детектива здесь существенно ломается — обычно мы выбираем одного из многих, но тут нам предлагается вариант, при котором убили все!

— Слушайте, Владимир, — сказал Сыромятников, против воли улыбаясь. Он не мог противиться обаянию этого жулика. — Вы действительно полагаете, что никто не читал «Убийство в Восточном экспрессе»?

— Полагаю, что читали немногие, — невозможно заметил Коктельо. — Кроме того, вы забываете о местном колорите. О широкой панораме России, омуле, таймене, о прекрасной кухне — читатель любит упоминания вкусной еды, это для него не менее важно, чем описание хорошего секса... И конечно, главное — высокий нравственный смысл. Вообразите: Россия поднимается с колен. Страна, многие годы униженная, измученная нищетой, пере-

ставшая различать добро и зло, — наконец мстит за многолетние страдания, наказывая одного из тех, кто так жестоко с нею обходился все это время! Бывший партийный чиновник, выслужившийся при новых хозяевах, гибнет от рук новой России — и кто же расследует это преступление?! Гуманно настроенный иностранец, человек с Запада, отлично знающий ментальность Востока и готовый в случае необходимости предоставить алиби всем убийцам, а вину свалить... ну, хотя бы на своего переводчика — скучного и брюзгливого малого, вечно недовольного собственной литературной карьерой!

Коктелью хлопнул Сыромятникова по плечу и оглушительно расхохотался.

Сыромятников, однако, не принял шутки. Он посмотрел на Коктелью маленькими блеклыми глазками, видевшими так много провинциальных злодейств, и покачал головой.

— Плохой вы писатель, Володя.

— Почему это, мой юный друг?!

— Потому что смотрите на страну через окно Восточного экспресса. А Россия — это вам не «Синеглазый Байкал». Никакой новой России нет, Володя, и никогда не будет. И с колен никто не встает. И мстить за гибель, тюрьму, унижения, нищету и позор здесь тоже никто не будет, понимаете? Был уже один такой опыт, на всю жизнь хватило. Нация рабов, сверху до низу — все рабы! Знаете, кто это сказал? Один человек, который повидал в жизни дерьма побольше вашего. А я, между прочим, знаю, кто ехал с Хайловым в купе. Это известный в При-

морье криминальный авторитет Пуля, тот самый, который просил у вас автограф позавчера. Еще сказал, что прочел вас в заключении и вы перевернули его душу.

— Помню, — заинтересованно откликнулся Коктельо. — И что же?

— А то, что Пуля не выносит, когда при нем храпят! — торжествуяще воскликнул Сыромятников. — И я отлично это знаю, потому что тоже читаю местную прессу. А поскольку убить человека для него — как два факса отослать, то он и нанес Хайлову в темноте семь ранений куда попало! Тот перестал храпеть, а Пуле этого и надо. Он спокойно лег обратно на полку и заснул, потому что вся местная милиция у него в кармане. Между прочим, об этом и в Москве знают, но скovyрнуть Пулю не могут никак — он тесно связан с некоторыми питерскими. Не надо ля-ля, Володя. Вы никогда ничего не напишете о России, потому что не понимаете ее. А если напишете, эта ваша книга здесь провалится. Здесь сроду не бунтуют и никому не мстят, здесь проглотят еще десять тысяч Хайловых и спокойно забудут все их художества. А убивают здесь из-за храпа, понимаете?

Коктельо помолчал.

— Вот поэтому-то я автор бестселлеров и миллионер, а вы мой переводчик с дюжиной ненапечатанных романов, — сказал он важно.

— Почему? — не понял Сыромятников.

— Потому что я предлагаю версию, которая льстит читателю. А вы тычете ему в нос унижительной ложью, которая на фиг никому не

нужна. Кому нужны этот ваш Патрон и это ваше убийство из-за храпа? И сравните это с моим прекрасным сюжетом, из которого выводятся богатейшие метафизические смыслы! Сравните это с красивой и увлекательной историей, которую предложил я — пусть на основе Агаты Кристи, потому что уже съеденное легче усваивается... А ведь ваша версия — грязная, смешная и, по правде сказать, идиотская, — ничуть не ближе к правде, чем моя!

— Да? — спросил уязвленный Сыромятников.

— Да! — грохнул Коктельо. — На самом деле все обстояло вовсе не так сложно, как у меня, и не так просто, как у вас. Вы же помните, как я в шесть утра прошел мимо вас по коридору? Я специально чертыхался у вашей двери!

— Вы хотите сказать... сказать... — задохнулся Сыромятников.

— «Измени жизнь, где можешь, и не сомневайся в своем праве», — сказал Коктельо, отрезая еще кусок омуля. — «Ежедневник Серебряного воина», часть вторая, глава пятнадцатая.

# МОЖАРОВО

*Памяти Валерия Фрида*

— Значит, повторяю в последний раз, — сказал Кошмин, высокий сухой человек, больше похожий на следователя-важняка, чем на инспектора гуманитарки. — В Можарове стоянка пять минут. Этого им достаточно, чтобы отцепить вагон с гумпомощью. При первой же вашей попытке открыть двери или окна я буду действовать по инструкции. Потом не обижайтесь.

Васильеву и так было страшно, да еще и за окном сгущалась июльская гроза: набухали лиловые тучи, чуть не касавшиеся густого сплошного ельника. Безлюдные серые деревеньки по сторонам дороги глядели мрачно: ни живности, ни людей, только на одном крыльце сидел бледный большеголовый мальчик и провожал поезд недобрым внимательным взглядом, в котором не было ничего детского. Иногда Васильев замечал такой взгляд у безнадежных сумасшедших, словно сознающих свое печальное состояние, но бессильных его изменить.

— Да не буду я, — сказал Васильев с досадой. — Вы же еще в Москве пять раз предупреждали.

— Всех предупреждали, — буркнул Кошмин, — а некоторые открывали...

— Да у нас вон и окно не открывается.

— А Горшенин, который перед вами ездил, бутылкой разбил окно, — мрачно напомнил Кошмин.

— Ну, у нас и бутылки нет... И решетки вон снаружи...

— В эту решетку свободно можно руку просунуть. Хлеба дать или что. И некоторые просовывали. Вы не видели, а я видел.

Васильева бесило, что Кошмин столько всего видел, но ни о чем не рассказывал толком. Он терпеть не мог неясностей.

— Вы лучше заранее скажите, Георгий Валентинович, — Васильеву было всего двадцать пять, и он обращался к инспектору уважительно. — Что это за сирены такие, перед которыми невозможно устоять? Честное слово, проще будет. Кто предупрежден, тот вооружен.

— А чего вы такого не знаете? — настороженно глянул Кошмин. — Вам все сказано: на станции подойдут люди, будут проситься, чтоб впустили, или там открыть окно, принять письмо для передачи, дать хлеба. Принимать ничего нельзя, открывать окна и двери не разрешается ни в коем случае. Можарово входит в перечень населенных пунктов, где выходить из поезда запрещается, что непонятного?

— Да я знаю. Но вы хоть скажите, что там случилось. Зона зараженная или что.

— Вас когда отправляли, лекцию читали? — спросил Кошмин.

— Ну, читали.



— Перечень пунктов доводили?

— Доводили.

— И что вам непонятно? Какая зараженная зона? Обычная зона гуманитарной помощи в рамках национального проекта поддержки русской провинции. Всё нормалдык. Но есть определенные правила, вы понимаете? Мы же не просто так, как баба на возу. Мы действуем в рамках госпроекта. Надо соблюдать. Если не будете соблюдать, я довожу о последствиях.

— Понял, понял, — сказал Васильев. Он терпеть не мог, когда ему что-либо доводили. Это его доводило. Также он терпеть не мог слов «йок» и «нормалдык». — А почему тогда вообще не закрыть окна на это время? Жалюзи какие-нибудь спустить железные, ставни, я не знаю...

— Ну как это, — поморщился Кошмин. — Едет же пресса вроде вас. Иностранные наблюдатели вон едут. Что, в глухом вагоне везти, как скотину? Вон в седьмом едет представитель фонда этого детского, Майерсон или как его. Он и так уже приставал, почему решетки. Ему не нравится из-за решетки глядеть. Он не знает, а я знаю. Он Бога должен молить, что решетки.

Люди вроде Кошмина всегда были убеждены, что за их решетки все должны кланяться им в пояс, потому что иначе было бы еще хуже.

— И потом, это же не везде так, — добавил он успокоительно. — Это одна такая зона у нас на пути, их и всего-то шесть, ну, семь... Проедем, а дальше до Урала нормально. Можно выходить, картошки там купить отварной,

с укропом... пообщаетесь с населением, если хотите... Заповедник, природа... Всё нормалдык! Зачем же ставни? Всего в двух пунктах надо соблюдать, Можарово и Крошино, а в остальное время ходите, пожалуйста, ничего не говорю...

Васильев попытался вообразить, что делается в Можарове. Еще когда их группу — три телевизионщика в соседнем вагоне и он от «Ведомостей» — инструктировали перед отправкой первого гуманитарного поезда, пересекающего Россию по случаю нацпроекта, инструктор явно чего-то недоговаривал. К каждому журналисту был прикреплен человек от Минсельхоза с внешностью и манерами профессионального охранника — что за предосторожности во время обычной поездки? Оно конечно, в последнее время ездить между городами стало опасно: вовсю потрошили электрички, нападали на товарняки... Ничего не поделаешь, тоже был нацпроект — приоритетное развитие семи мегаполисов, а между ними более или менее дикое поле, не надо нам столько земли... Кто мог — перебрался в города, а что делалось с остальными на огромном российском пространстве — Васильев представлял смутно. Но он был репортер, вдобавок с армейским опытом, и его отправили с первым гуманитарным — писать репортаж о том, как мегаполисы делятся от своих избытков с прочим пространством, где, по слухам, и с электричеством-то уже были перебои. Правда, о том, что на отдельных станциях нельзя будет даже носу высунуть на перрон, в Москве никто не предупреждал. Тог-

да симпатичная из «Вестей» точно бы не поехала — она и так все жаловалась, что в вагоне не предусмотрена ванна. Ванна была только в спецвагоне Майерсона, потому что он был филантроп и Бог знает какой миллиардер, Гейтс курит.

За окном плыл безлюдный и ничем не примечательный, но именно поэтому особенно страшный пейзаж: все те же пустые серые деревни, иногда одинокая коза с красной тряпкой на шее, иногда тихий косарь, в одиночку выкашивавший овраг, — косарь тоже смотрел вслед поезду, нечасто он теперь видел поезда, и лица его Васильев не успевал разглядеть; мелькало поле с одиноко ржавевшим трактором — и опять тянулся угрюмый ельник, над которым клубилась лиловая туча. Быстро мелькнули остатки завода за полуразвалившимся бетонным забором, ржавые трубы, козловой кран; потянулось мелколесье, среди которого Васильев успел разглядеть бывшую воинскую часть за ржавой колючей проволокой, на которой так и остался висеть чей-то ватник — небось мальчишки лазали за техникой... Поезд замедлял ход.

— Что там хоть раньше-то было, в Можарове? — спросил Васильев, чтобы отвлечься от исподволь нараставшего ужаса. Он знал, что Минсельхоз просто так охранников не приставляет — там работали теперь люди серьезные, покруче силовиков. — Может, промыслы какие?

— Кирпичный завод, — нехотя ответил Кошмин после паузы. — Давно разорился, лет

тридцать. Ну и по мелочи, обувная, мебельная фабрика... Театр кукол, что ли... Я тогда не был тут.

— А сейчас есть что-то?

— Если живут люди — значит, есть, — сказал Кошмин с таким раздражением, что Васильев почел за лучшее умолкнуть.

— В общем, я вас предупредил, — проговорил Кошмин после паузы. — К окну лучше вообще не соваться. Если нервы слабые, давайте занавеску спущу. Но вообще-то вам как журналисту надо посмотреть. Только не рыпайтесь.

— Ладно, ладно, — машинально сказал Васильев и уставился на медленно плывущую за окном станцию Можарово.

Сначала ничего не было. Он ожидал чего угодно — монстров, уродов, бросающихся на решетку вагона, — но по перрону одиноко брела старуха с ведром и просительно заглядывала в окна.

— Раков! — покрикивала она. — Вот раков кому! Свежие кому раки!

Васильев очень любил раков и остро их захотел, но не шелохнулся. Старуха подошла и к их вагону, приблизила к стеклу доброе изможденное лицо, на котором Васильев, как ни вглядывался, не мог разглядеть ничего ужасного.

— Раков! — повторила она ласково. — Ай кому надо раков?

— Молчите, — сквозь зубы сказал Кошмин. Лицо его исказилось страданием — тем более ужасным, что, на взгляд Васильева, совершенно беспричинным. Не может быть, чтобы ему

так сильно хотелось раков и теперь его разди- рала борьба аппетита с инструкцией.

Старуха отвернулась и тоскливо побрела дальше. Станция постепенно заполнялась людьми — вялыми, явно истощенными, двигавшимися замедленно, как в рапиде. К окну подошла молодая мать с ребенком на руках; ребенок был желтый, сморщенный, вялый, как тряпичная кукла.

— Подайте чего-нибудь ради Христа, — сказа- ла она тихо и жалобно. Несмотря на толстое стекло, Васильев слышал каждое ее слово. — Работы нет, мужа нет. Христа ради, чего-ни- будь.

Васильев со стыдом посмотрел на дорожную снедь, которую не успел убрать. В гуманитар- ных поездах кормили прекрасно, Минсельхоз не жалел средств. На купейном столике разло- жены были колбаса двух сортов, голландский сыр, что называется, со слезой, и паштет из гу- синой печени с грецким орехом, так называе- мый страсбургский. Прятать еду было позд- но — нищенка все видела. Васильев сидел весь красный.

Вдоль поезда шла девочка с трогательным и ясным личиком, словно сошедшая с рожде- ственской олеографии, на которых замерзаю- щие девочки со спичками обязательно были ангелоподобны, розовы, словно до попадания на промерзшую улицу жили в благополучней- шей семье с сытными обедами и ежеутренни- ми ваннами. Васильеву казалось даже, что он видел эту девочку на открытке, сохранившейся в семье с дореволюционных времен, — в этой

открытке прапрапрадедушка поздравлял прапрапрабабушку с новым 1914 годом. Девочка подошла к окну, подняла глаза и доверчиво произнесла:

— Мама болеет. Совсем болеет, не встать. Дяденьки, хоть чего-нибудь, а?

Она просила не канюча, улыбаясь, словно не хотела давить на жалость и стыдилась своего положения.

— А я песенку знаю, — сказала она. — Вот, песенку спою. Не прошла-а-а зима, снег еще-е-е лежит, но уже домо-о-ой ласточка спешит-ит... На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя-а-а...

Васильев знал эту песню с детского сада и ребенком всегда плакал, когда ее слышал. Он посмотрел на Кошмина. Тот не сводил с него глаз, ловил каждое движение — не было никакой надежды обмануть его и хоть украдкой выбросить в окно деньги или упаковку колбасы; да и решетка...

— Ну вот скажите мне, — ненавидя себя за робкую, заискивающую интонацию, выговорил Васильев, — вот объясните, что был бы за вред, если бы мы сейчас ей подали кусок хлеба или три рубля?

— Кому — ей? — жестко переспросил Кошмин.

— Ну вот этой, девочке...

— Девочке? — снова переспросил Кошмин.

Что он, оглох, что ли, подумал Васильев. Может, он вообще сумасшедший, псих проклятый, придали мне уroda, а я теперь из-за него не моги ребенку дать еды.

— Вы не видите, что ли?!

— Вижу, — медленно сказал Кошмин. — Сидите смиренно, или я не отвечаю.

К окну между тем подошла еще одна старуха, маленькая, согбенная, очкастенъкая, с личиком провинциальной учительницы. Дрожащей скрюченной лапкой она протянула к самому лицу Васильева маленькие вязаные тапочки, такие еще называют пинетками, собственные его пинетки до сих пор хранились дома, покойная бабушка связала их крючком. Если бы не дедушкина пенсия да не проживание в Москве, покойная бабушка на старости лет могла бы стоять точно так же.

— Купите тапочки, — умоляюще сказала старушка. — Хорошие тапочки, чистая шерсть. Пожалуйста. Дитенку там или кому.. Купите тапочки...

Вот они, сирены Можарова. Вот к кому нам нельзя теперь выходить. От собственного народа мы отгородились стальными решетками, сидим, жрем страсбургский паштет. Васильев встал, но Кошмин как-то так ткнул его стальным пальцем в подреберье, что журналист согнулся и тут же рухнул на полку.

— Предупреждал, — с отвратительным злорадством сказал Кошмин.

— Предупреждал он, — сквозь зубы просипел Васильев. — Суки вы все, суки позорные... Что вы сделали...

— Мы? — спросил Кошмин. — Мы ничего не сделали. Это вас надо спрашивать, что вы сделали.

Парад несчастных за окном в это время продолжался: к самым решеткам приник пожи-

лой, болезненно полноватый мужчина с добрым и растерянным лицом.

— Господа, — лепетал он срывающимся голосом, — господа, ради Бога... Я не местный, я не как они... Поймите, я здесь случайно. Я случайно здесь, я не предполагал. Третий месяц не могу выбраться, господа, умоляю. Откройте на секунду, никого не впустим. Господа. Ведь нельзя же здесь оставлять... поймите... я интеллигентный человек, я такой же человек, как вы. Ведь невыносимо...

Голос его становился все тише, перешел в шепот и наконец сорвался. Мужчина рыдал, Васильев мог бы поклясться, что он плакал беспомощно и безнадежно, как младенец, забытый в детском саду.

— Я все понимаю, — снова начал он. — Я вас понимаю прекрасно. Но я вас умоляю, умоляю... я клянусь чем хотите... Вот! — внезапно осенило его, и из кармана мятого серого плаща он извлек какую-то обтерханную справку. — Тут все написано! Командировка, господа, командировка... умоляю... умоляю...

Тут он посмотрел влево, и на лице его отобразился ужас. Кто-то страшный в водолазном костюме неумолимо подходил к нему, отцеплял от решетки вагона его судорожно сжатые пальцы и уводил, утаскивал за собой — то ли местный монстр, то ли страж порядка.

— Ааа! — пронзительным заячьим криком заверещал пожилой, все еще оглядываясь в надежде, что из вагона придет помощь. — Спасите! Нет!

— Это кто? — одними губами спросил Васильев.



— Кто именно?

— Этот... в водолазном костюме...

— В каком костюме?

— Ну, тот... который увел этого...

— Милиция, наверное, — пожал плечами Кошмин. — Почему водолазный, обычная защита... Тут без защиты не очень погуляешь...

Станция заполнялась народом. Прошло лишь пять минут, а вдоль всего перрона тащились, влачили, ползли убогие и увечные. В них не было ничего ужасного, ничего из дурного фантастического фильма — это были обычные старики, женщины и дети из советского фильма про войну, толпа, провожающая солдат и не надеющаяся дожидаться их возвращения. Уйдут солдаты, придут немцы, никто не спасет. В каждом взгляде читалась беспокойная, робкая беспомощность больного, который живет в чужом доме на птичьих правах и боится быть в тягость. Такие люди страшатся обеспокоить чужого любой просьбой, потому что в ответ могут отнять последнее. На всех лицах читалось привычное кроткое унижение, во всех глазах светилась робкая мольба о милости, в которую никто толком не верил. Больше всего поразила Васильева одна девушка, совсем девчонка лет пятнадцати — она подошла к вагону ближе других, опираясь на два грубо сработанных костыля. Эта ни о чем не просила, только смотрела с такой болью, что Васильев отшатнулся от окна — ее взгляд словно ударил его в лицо.

— Что ж мне делать-то, а! — провыла она не с вопросительной, а с повелительной, надрыв-

ной интонацией, словно после этих ее слов Васильев должен был вскочить и мчаться на перрон, спасти всю эту измученную толпу. — Что ж делать-то, о Господи! Неужели ничего нельзя сделать, неужели так и будет все! Не может же быть, чтобы никакой пощады нигде! Что ж мы всем сделали?! Нельзя же, чтобы так с живыми людьми...

Этого Васильев не мог выдержать. Он все-таки отслужил, вдобавок занимался альпинизмом, так что успел повалить Кошмина резким хуком слева, своим фирменным, — и выбежал в коридор, но там его уже караулил проводник. Проводник оказался очень профессиональный — в РЖД, как и в Минсельхозе, не зря ели свой страсбургский паштет. Васильев еще два дня потом не мог пошевелить правой рукой.

— Нельзя, — шепотом сказал проводник, скрутив его и запихнув обратно в купе. — Нельзя, сказано. Это ж как на подводной лодке. Сами знать должны. Знаете, как на подводной лодке? — Странно было слышать этот увещающий шепот от человека, который только что заломал Васильева с профессионализмом истинного спецназовца. — На подводной лодке, когда авария, все отсеки задраиваются. Представляете, стучат люди из соседнего отсека, ваши товарищи. И вы не можете их впустить, потому что устав. В уставе морском записано, что нельзя во время аварии открывать отсеки. Там люди гибнут, а вам не открыть. Вот и здесь так, только здесь не товарищи.

— Мрази! — заорал Васильев, чумая от бесильной ненависти. — Мрази вы все! Кто вам

не товарищи?! Старики и дети больные вам не товарищи?! Это что вы за страну сделали, стабилизаторы долбаные, что вы натворили, что боитесь к собственному народу выйти! Это же ваш, ваш народ, что ж вы попрятались от него за решетки! Хлеба кусок ему жалеете?! Рубль драный жалеете?! Ненавижу, ненавижу вас, ублюдков!

— Покричи, покричи, — не то угрожающе, не то одобрительно сказал проводник. — Легче будет. Чего он нервный такой? — обратился он к Кошмину.

— Журналист, — усмехнулся Кошмин.

— А... Ну, пусть посмотрит, полезно. Тут, в Можарове, журналистов-то давно не было...

— Что они там возьмется с вагоном? — неодобрительно спросил Кошмин у проводника. Они разговаривали запросто, словно коллеги. — Давно отцепили бы, да мы бы дальше поехали...

— Не могут они быстро-то, — сказал проводник. — Меньше двадцати минут не возьмется.

— Ослабели, — снова усмехнулся Кошмин.

В этот момент поезд дрогнул и тронулся. Несколько девочек в выцветшем тряпье побежали за вагоном — впрочем, какое побежали, скорей поползли, шатаясь и сразу выдыхаясь; Васильев отвел взгляд.

— Ну, извиняй, журналист, — сказал проводник, переводя дух. — Сам нам будешь благодарен.

— Ага, — сказал Васильев, потирая плечо. — За все вам благодарны, всю жизнь. Скажи спасибо, что не до смерти, что не в глаз, что не

в рот... Спасибо, век не забуду. Есть такой рассказ — вы-то не читали, но я вам своими словами, для общего развития... Называется «Ушедшие из Омеласа». Имя автора вам все равно ничего не скажет, так что пропустим. Короче, есть процветающий город Омелас. И все в нем счастливы. И сплошная благодать с народными гуляниями...

— А в жалком подвале за вечно запертой дверью, — невозмутимо вступил Кошмин, — сидит мальчик-олигофрен, обгаженный и голодный. Он лепечет: выпустите, выпустите меня. И если его выпустить, весь город Омелас с его процветанием полетит к чертям собачьим. Правильно? Причем ребенок даже не сознает своего положения, и вдобавок он недоразвитый. Даун он, можно сказать. Слезинка ребенка. Читали. Урсула Ле Гуин. Наше ведомство начитанное.

— Какое ведомство? — спросил оторопевший Васильев.

— Минсельхоз, — сказал Кошмин и подмигнул проводнику. Тот жизнерадостно оскалился в ответ.

— Но если вы все это читали... — упавшим голосом начал Васильев.

— Слушай, журналист, — Кошмин наклонился к нему через столик. — Ты думать можешь мало-мало или вообще уже все мозги отшибло? Ты хорошо их слышал?

— Кого — их?

— Ну голоса их, я не знаю, кого там ты слышал. Хорошо слышал?

— Ну, — кивнул Васильев, не понимая, куда клонит инструктор.

— А ведь стекло толстое. Очень толстое стекло, журналист. А ты их слышал, как будто они рядом стояли, — нет? И видел ровно то, что могло на тебя сильнее всего надавить, так? Зуб даю, что-нибудь из детства.

— А вы? — пролепетал потрясенный Васильев. — Вы что видели?

— Что я видел, того тебе знать не надо! — рявкнул Кошмин. — Мало ли что я видел! Тут каждый видит свое, умеют они так! Интересно послушать потом, да только рассказывать чаще всего некому. Тут щелку в вагоне приоткроешь — и такое...

— Ладно, — устало сказал Васильев. Он все понял. — Кому другому вкручивайте. Ведомство ваше, Минсельхоз, Минпсихоз или как вы там называетесь, — вы хорошо мозги парите, это я в курсе. И фантастику читали, вижу. Но дураков нет вам верить, понятно? Уже и телевизор ваш никто не смотрит, про шпионов в школах и вредителей в шахтах. И про призраков в Можарове, которых я один вижу, — не надо мне тут, ладно? Не надо! Я и так ничего не напишу, да если б и написал — не пропустите.

— Вот клоун, а? — усмехнулся проводник, но тут же схватился за рацию. — Восьмой слушает!

Лицо его посерело, он обмяк и тяжело сел на полку.

— В двенадцатом открыли, — еле слышно сказал он Кошмину.

— Корреспонденты? — спросил Кошмин, вскакивая.

— Телевизионщики. Кретины.

— И что, все? С концами?

— Ну а ты как думал? Бывает не все?

— Вот дура! — яростно прошептал Кошмин. — Я по роже ее видел, что дура. Никогда таких брать нельзя.

— Ладно, о покойнице-то, — укоризненно сказал проводник.

Васильев еще не понимал, что покойницей называют симпатичную из «Вестей». До него все доходило как сквозь вату.

— Нечего тут бабам делать, — повторял Кошмин. — В жизни больше не возьму. Что теперь с начпоездом в Москве сделают, это ужас...

— Ладно, пошли, — сказал проводник. — Оформить надо, убрать там...

Они вышли из купе, Васильев увязался за ними.

— Сиди! — обернулся Кошмин.

— Да ладно, пусть посмотрит. Может, поймет чего, — заступился проводник.

— Ну иди, — пожал плечом инструктор.

Они прошли через салон-вагон перепуганного Майерсона. «Sorry, a little incident», — на безукоризненном английском бросил Кошмин. Майерсон что-то лепетал про оговоренные условия личной безопасности. Пять вагонов, которые предстояло насквозь пройти до двенадцатого, показались Васильеву бесконечно длинным экспрессом. Мельком он взглядывал в окно, за которым тянулись все те же серые деревни; лиловая туча, так и не проливаясь, висела над ними.

В тамбуре двенадцатого вагона уже стояли три других проводника. Они расступились перед Кошминым. Васильев заглянул в коридор.

Половина окон была выбита, дверцы купе проломаны, перегородки смяты, словно в вагоне резвился, насытившись, неумолимый и страшно сильный великан. Крыша вагона слегка выгнулась вверх, словно его надували изнутри. Уцелевшие стекла были залиты кровью, клочья одежды валялись по всему коридору, обглоданная берцовая кость виднелась в ближайшем купе. Странный запах стоял в вагоне, примешиваясь к отвратительному запаху крови, — гнилостный, застарелый: так пахнет в пустой избе, где давным-давно гниют сальные тряпки да хозяйничают мыши.

— Три минуты, — сказал один из проводников. — Три минуты всего.

— Чем же они ее так... купили? — произнес второй, помладше.

— Не узнаешь теперь, — пожал плечами первый. — Не расскажет.

— Иди к себе, — обернулся Кошмин к Васильеву. — Покури пойдя, а то лица на тебе нет. Ничего, теперь только Крошино проехать, а потом всё нормалдык.

## ЧУДЬ

Первое намерение Кожухова было — отвернуться, зарыться в подушку и попытаться заснуть опять. Но он был человек сообразительный и в таких случаях сразу понимал: все, спокойная жизнь кончилась, надо как можно быстрее проснуться окончательно и поглядеть обстоятельствам в лицо. Обстоятельства сидели на нижней полке, за столиком купе.

Когда она вошла? Вероятно, в Курске. Кожухов глянул на часы: три ночи, самое поганое время. До Орла еще часа два. Он почему-то понимал, что света лучше не зажигать, да и в вагонной полутьме, в белесоватых сполохах пробегающих полустанков с их ртутными фонарями в жестяных конусах, он видел ее отлично. За окном тянулась ночная, тревожная, бесприютная Россия, мало похожая на дневную. Ночные поезда перевозили тайные грузы, неумолимых и опасных людей, секретную почту, по предписаниям которой однажды в час «Ч» начнется ожидаемое всеми ужасное. Днем они могли говорить что угодно, давать гарантии, изображать цивилизованную страну, но ночью жили своей настоящей жизнью и занимались тем единственным, что умели, и все



про это знали, и дневным их разговорам никто не верил.

Она подняла огромные прозрачные глаза и взглянула прямо на Кожухова и тоже узнала его, хотя прошло два года. Если бы она его не узнала, все могло обойтись, но теперь деваться было некуда.

Да, два года назад он впервые увидел эту рекламу, которую поначалу, идиоты, еще принимали за социальную. Она стояла там среди невыразительного пейзажа — опушка подмосковного леса, дачный поселок вдаль, — смотрела в камеру этими огромными прозрачными глазами (такой цвет бывает у моря в тихий весенний пасмурный день) и говорила медленно, словно объясняя непонятливому ребенку:

— Капли холодной росы блестят на туго натянутой колючей проволоке.

Фразы менялись, одна бессмысленнее другой. Иногда она с той же назидательной интонацией уверяла:

— Косая тень от черных гор перегородила оранжевую долину.

— Никто еще не видел раскаяния от самолюбленного тюльпана, растущего на краю плоскогорья.

— Первая же попытка закончится так, что думать о второй сможет только малахит.

Находились расшифровщики, переписывавшие эти ролики на домашние магнитофоны, просматривавшие по двадцать раз в поисках двадцать пятого кадра, изучавшие на профессиональной аппаратуре — нет ли хоть на зад-

нем плане намек на позиционируемый товар; однажды она появилась на фоне пустого шоссе — были люди, уверявшие, что это так называемая вторая Рублевка, в помощь к наглухо забитой первой, и вся рекламная кампания с дальним прицелом затеяна ради нее; в конце концов, каждый рекламный сериал должен чем-нибудь закончиться, и чем дольше подготовка, тем ударней эффект. Когда-то, на заре российского телерекламного бизнеса, самым шумным проектом был цикл роликов «Когда-нибудь я скажу все, что думаю по этому поводу». Молодой человек на нейтральном офисном фоне повторял и повторял эту угрозу, пока в один прекрасный день не сказал какую-то ерунду то ли про «Алису», то ли про «Менатеп»: финальный месседж забылся начисто, но акцию помнили все. Оставалось понять, чего хотят эти, с большеглазой девушкой, размещающая ее меланхолическую белиберду в самое дорогое время на главных каналах.

Кожухов потом спрашивал себя: почувствовал ли он угрозу с самого начала? Нет, ничего подобного. Все уже привыкли к вырождению. Не могло произойти ничего ужасного — только смешное, гнусное, стыдное. Скажи ему кто-нибудь, что вместе с этой заторможенной длинноволосой мальвиной с ее кодовыми загадками в кислое существование ворвется чудовищная, но настоящая жизнь, — он первым расхохотался бы. Сами виноваты: поверили, что на свете нет ничего, кроме пиара. Впрочем, кто-то ведь коллекционировал эти фразы, создавал в ЖЖ сообщество «dura\_iz\_rolikov»,

подбирал ключи к шифру: а что получается по первым буквам всех слов в очередной фразе? «В лунном ядовитом свете одинокая кукла сидела у бурой, окровавленной кирпичной стены»: ВЛЯСОКСУБОКС! Удивительно содержательный месседж. Попробуем вторые буквы всех слов, минуя предлоги: УДВДУИУКИТ! Третьи, пятые... Хорошо, а если первая буква в первом слове, вторая во втором, третья в третьем? Получались идиотские сочетания, из которых выкапывали самый фантастический смысл: однажды у кого-то в результате очередных каббалистических комбинаций сложился ККОДОР, предположили тайные приветы ему, посылаемые группой могущественных, но боязливых олигархов, — но смысл, едва наметившись, растворился в потоке белиберды. Темные склоненные головы роз внятно обозначались в провалах летней ночи. Крупные точеные градины ударили по дороге, выбив крупные точеные впадины. В записке не содержалось ничего, кроме приглашения прибыть по тщательно зачеркнутому адресу.

Самой убедительной казалась тогда версия Петровской: производителям надоело, что люди на время рекламных пауз переключаются на другой канал или уходят в сортир, всем захотелось приковать внимание зрителя к рекламе — и вот преуспели, страна застывает у телевизоров, слушает про шампуни и йогурты, только и ждет рекламы — не появится ли белоглазая с очередным бредом. Расчет гениальный: при полном отсутствии событий хоть какая-то интрига, второй месяц не надоедает. Единст-

венная попытка журналистского расследования тогда ничего не дала: менеджеры каналов не имели права раскрывать производителя роликов, таково было его условие. Потом-то, само собой, все равно пришлось колотиться: когда после третьего взрыва стала очевидна связь между очередными появлениями Чуди Белоглазой и крупными техногенными катастрофами либо терактами — ролики прекратились, а обнародованные результаты расследования свелись к тому, что сюжеты рассылала по компаниям корпорация ДОМОКС, зарегистрированная на Кипре и расположенная по фальшивому адресу. Деньги от нее приходили исправно, арест счетов ничего не дал, владельцем значился Иван Иванович Иванов.

Буча была большая, рекламные паузы на месяц прекратились вовсе, но жизнь пошла такая, что стало не до рекламных пауз. Чудь появлялась когда-то раз в неделю, и сразу после очередных ее реплик, ничуть не осмысленней прочих (что-то про удивительно гладкий снег, припорошивший слепое болото, про восторженные крики грачей на осенней заре и тревожный голос поезда, скользящего в сырой глубине ущелья), с таким же недельным интервалом грохнули подряд один поезд и два нефтепровода. Могла быть элементарная халатность, отсроченная техногенная катастрофа-2003, а мог быть и теракт, хотя в наши стабильные времена, при замиренной Чечне, кто же признался бы, — но как бы то ни было, связь была замечена всеми, и Чудь исчезла. Официальная версия была озвучена всего единожды: таким

способом организатор подавал сигнал исполнителю, вредительство на транспорте, ничего нового, — всю рекламу стали перепроверять, и на полгода все смолкло.

А потом она стала всплывать вновь — то тут, то там, на цифровом, на кабельном, потому что деньги за нее, видимо, платили неплохие, а денег становилось все меньше, и рекламный рынок был давно поделен, и тем, кто хотел выживать, приходилось подпитываться чем угодно, не отказываясь даже от сомнительных предложений. Если на КТВ-1 всю рекламу рекламировали порножурналы, а «М-Спорт» не брезговал табачно-алкогольными роликами, не было ничего удивительного в том, что Чудь вернулась. Все ее явления отслеживались тщательно — и не только органами, но и немедленно реанимированным сообществом, которое, кстати, работало лучше органов. Некоторые ее новые шедевры в режиме u-tube уже были выложены на общее обозрение: «Я знаю, что вы не знаете, но вы не знаете, почему я знаю и буду перемигиваться». «У одного открытие, у другого закрытие, но только некоторые могут понять, почему на самом деле не нужно». «Я не то, а другое, не то другое, что подумали вы, а то, что подумала я». Она говорила теперь не о пейзажах, а все больше о себе да о других людях, которые чего-то не понимали. Это породило новую волну толкований, — и опять был недолгий люфт, зазор, попытка, что ли, приучить к ней, подсадить... После двух первых ее появлений ничего не случилось. Когда после третьего вспыхнула

эпидемия чумы в Омске, региональный канал, показавший очередной ее ролик, прикрыли, а владельца объявили в розыск. После этого Чудь исчезла окончательно, хотя катастрофы не прекратились — они в последнее время шли лавиной, словно наверстывая упущенное в годы стабильности, когда все уж было расслабились.

Удивительно, что никто не встречал ее ни в студийных коридорах, ни в рекламных агентствах; ее портфолио не было на киностудиях, журнальные модели о ней не слыхивали, ее родственники и учителя не подавали голоса, хотя газетчики не оставляли розысканий. Кажется, она существовала только на пленке — или жила в своем проклятом Подмосковье, на фоне которого главным образом и появлялась. Там, среди капель росы, блестящих на колючей проволоке, и крупных впадин, выбитых крупными градинами, она и пребывала вечно — в своем страшном замкнутом мире, где ее наверняка держали для темных экспериментов, иначе откуда бы у нее эти наркоманские прозрачные глаза?

Кожухов с самого начала ощущал нечто вроде связи с ней — и не только потому, что сам давно предчувствовал эту отложенную, но неизбежную волну всеобщего осыпания. Просто он видел ее однажды в детстве, уверен был, что видел: ее привели на детскую площадку, где играл весь их молодежь с Ломоносовского проспекта, с той его части, что примыкала к Золотым ключам: на этой площадке, с многочисленными и сложными лазилками,

высокими качелями и настоящей полосой препятствий, шла своя, насыщенная и взрослая жизнь (многие игры и интриги на работе казались ему потом гораздо более детскими), все завсегда и знали друг друга, обсуждали важные вещи, при встречах здоровались многозначительно. Прозрачноглазая появилась единственный раз, ее привела строгая, подтянутая бабушка, не вступавшая в разговоры с легкомысленными местными мамашами: она сидела обособленно, с толстой книгой, в которую, впрочем, не заглядывала — просто смотрела в пространство, а книгу держала на коленях. Новая девочка поучаствовала в общих играх, но как-то вяло. Кожухов ее запомнил, она была красивая — но главное, она понимала цену всем их занятиям и не могла этого скрыть. Ей почти сразу становилось скучно. И до самой этой рекламной истории Кожухов никогда ее больше не видел, только потом вспомнил: батюшки, это же было перед самой школой, перед третьим классом, в августе девяносто первого года. Но тогда-то ее, восьмилетнюю, кто использовал?!

Впрочем, это могла быть вовсе не она. Мало ли девушек с прозрачными глазами. Но в свою тайную связь с ней Кожухов верил не просто так: никто из активистов сообщества «dura\_iz\_rolikov» не удостоился личной встречи с культовой героиней, а ему повезло, хотя после этого везения он еще неделю вскакивал по ночам в холодном поту. Он ехал в лифте, поздним вечером, пьянствовать к приятелю, — и вдруг лифт остановился на

пятом этаже, открылись двери и вошла она. В руке у нее был шприц. Кожухов запомнил все со страшной отчетливостью: голубую куртку, в которой она ни разу не появлялась на экране (там были все больше странные брезентовые ветровки с джинсами), издевательскую ухмылку и особенно, само собой, шприц. И кто бы не запомнил — едва войдя и нажав четырнадцатый (Кожухову нужен был двенадцатый, но он не посмел возражать), она принялась быстро-быстро размахивать этим самым шприцем перед самыми его глазами, туда-сюда, и он стоял как парализованный, не в силах даже зажмуриться, не то что защититься рукой. Почему-то он был уверен, что вот сейчас она воткнет иглу прямо ему в глаз, — но вместо этого она быстро и профессионально, прямо сквозь куртку, уколола собственное плечо и, лунатически посмеиваясь, вышла. Кожухов не посмел шагнуть за ней, помчался к приятелю, тут же вызвал милицию, — долго объяснять не понадобилось, история была шумная, все про нее помнили, — дом оцепили через десять минут, прочесали все квартиры на двенадцатом, все лестничные клетки и кладовки, но, естественно, никого не нашли. Он почему-то знал, что не найдут, и звонил для очистки совести. Впрочем, за эти десять минут она могла ускользнуть десять раз — передала какое-нибудь зелье или деньги за него, и поминай как звали. Внизу надо было дежурить. Почему он не побежал вниз караулить дверь? Боялся еще раз встретиться с ее прозрачными белесыми глазами? Или втайне не хотел, чтобы ее взяли?



Теперь она сидела на нижней полке, в купе, в котором уже тридцатилетний Кожухов из самого Симферополя ехал один (понятное дело, весна, несезон). Поезд раскачивался, грохотал, пронеслись и затихали встречные электрички, и казалось, что грохот все громче, а раскачка все рискованней: понятно ведь — где она, там катастрофа. Кожухов никогда не ответил бы, красива она или уродлива. Наверное, красива — точнее, казалась бы красивой, будь она хоть чуть благополучней, не вноси с собой сосущее чувство зыбкости и хаоса. Они точно выбрали, куда ее поставить: на фоне гламурных рекламных девочек она выглядела единственной настоящей, но, Господи, как же ужасно это настоящее: сплошная дисгармония, непреходящее мученье, всевидящие наркоманские зенки, перед которыми словно всегда стоят видения распадающегося мира... Даже когда она улыбалась ему в лифте, Босх не выдумал бы ничего ужаснее этой улыбки. Кожухов видел со своей верхней полки смутное опаловое сияние ее глаз и понимал, что деваться некуда, что раз она вернулась — будет что-то непоправимое и те, кто ее направил, даже не снисходят до переговоров или сигналов. Это не было примитивным кодом — вот, мол, Махмуд, поджигай; это было предупреждение всем прочим — конец, конец, братцы. Порезвились, и будя.

Кожухов не мог открыть рта, а главное — он не знал, о чем спросить ее. Зачем она все это делает? Но разве все это делает она? Можно бы, конечно, спросить что-нибудь идиотское,

типа: «Кто за тобой стоит?», но она только усмехнется, как тогда в лифте.

— Ну? — спросил он, стараясь не выдать дрожи. — Что на этот раз?

В ответ она молча закурила. Понятное дело, никакие правила поведения в поездах были ей не писаны.

— Капли росы блестят на колючей проволоке, — вслух повторил Кожухов. — В записке не содержалось ничего, кроме приглашения явиться по зачеркнутому адресу.

Усмехнулась.

— Да, — сказала она, — запоминается.

Голос у нее был усталый и, кажется, глуше, чем в роликах.

— Да уж куда лучше, — зло сказал Кожухов. — Вон какого бенца наделала... Ты мне скажи, — я все равно никому не расскажу, да никто и не поверит: как это делалось? Я понимаю, если бы только перед терактами. Но ведь перед катастрофами! Перед чумой! Я не представляю, как это можно организовать за день. Кто вообще, какой бен Ладен может подавать сигналы такого уровня?!

Она молча курила, глядя на него в упор.

— Ну правильно, — выждав минуты две, проговорил Кожухов. — Молчать все умеем. Чего-нибудь скажи — и прощай тайна. А мы не должны терять обаяния загадочности, мы ведь сверхлюди. Что из-за тебя тысячами мрут — тебе плевать...

— Дурак, — сказала она ровно. — С чего ты взял про сигналы?

— А что еще это могло быть? — вскинулся он. — Совпадения? Пять раз?

— Дурак, — повторила она. — Может быть, это я вас предупреждала. Вас! А не их.

Кожухов сел на полке, потом резко соскочил вниз. Эта мысль — вполне очевидная, если вдуматься, — никогда не приходила ему в голову.

— Но кого ж ты так предупредишь? Что, по-человечески сказать было нельзя?

— А я знала? Откуда мне каждый раз знать? Может, это просто — типа: «Люди, будьте бдительны»...

Иногда ему казалось, что он все еще спит. Но нет, в купе пахло ее табаком, и сама она сидела напротив, живая. Он хотел ее потрогать, но удержался.

— И кто ж тебя снимал?

— Отстань. Может, я не предупреждала никого. Может, я вообще ни при чем.

— Слушай, хватит!

— А что — хватит? Я же не сама появляюсь. Что, ты думал — беру и рекламное время покупаю?

— Нет, что не сама — это ясно. А вот кто тебя так...

— А ты считай, что я не знаю.

— Считать? Или не знаешь?

— А какая разница? После — не значит вследствие, должен помнить.

— Я-то помню, — Кожухов все меньше боялся, все больше злился. Его опять водили за нос, и опять она ускользала за свои дурацкие ложные многозначительности, но игра эта оплачивалась чужой кровью, и это было уже совсем не смешно. — Но тогда объясни мне,

потому что сколько можно темнить?! Чего ты хочешь, в конце концов?

— Я? Чего я могу хотеть?

— Дозняк свой ты хочешь, это я уже понял. Покупаешь на это свои дозняки. Но им-то ты зачем, которые тебе платят?

— Ах, да при чем тут, — сказала она тоскливо. — Как ты все умудряешься не про то и не про то... Ты думаешь, я сама понимаю, почему это бывает? В этом и ужас весь: я же ничего не хочу. Я это как-то делаю. Пока меня не было, ничего не было, а как я появлюсь — так оно и начинается. И так везде, понимаешь? Где я, там начнется.

— Ну, а они-то кто? Домокс этот долбаный?!

— Да нет никакого домокса.

— А кто тебя крутил по всем каналам?

— Откуда я знаю.

— Но ведь снимать-то должен был кто-то! Чушь эту невыносимую тебе должен был кто-то писать! «Некоторые не могут понять, почему на самом деле не нужно»!

— Что-то ты не про то думаешь, — сказала она и опять поглядела на него в упор, и поезд подозрительно накренился на повороте.

— А про что мне думать?

— А про то, что ты меня опять видишь. В последний раз когда виделись, в лифте, помнишь?

— Помню, — сказал Кожухов севшим голосом.

— Что через день было — помнишь?

Он помнил. Через день рухнул железнодорожный мост, больше двухсот жертв.

— Ну и думай, — сказала она. — Думай теперь, ехать тебе в Москву или как.

Она засмеялась, и Кожухова передернуло от этого хриплого смеха — так смеются те, кто уже по многу раз продал и перепродал последнее, и всех, и себя.

— Что ж ты не сдохнешь никак? — с ненавистью спросил Кожухов. — Столько лет колешься, а не сдохнешь. Другие за три года спекаются, а тебе хоть бы хны.

— Ну, за меня-то ты не бойся, — сказала она. — Бойся-то ты за себя. Я-то сейчас сойду, а ты-то поедешь дальше.

И точно, поезд начал подтормаживать, хотя до Орла, по кожуховским подсчетам, было еще не меньше часа. Сроду тут поезд не останавливался — полустанок какой-то, что ли? Она встала, подхватила рюкзачок и стремительно вышла — Кожухов еле успел вскочить и выпрыгнуть за ней, не захватив ни пальто, ни сумки.

Она уходила от него по сырой ночной платформе, цокая каблуками по асфальту, и он стоял столбом, не смея ни догнать, ни схватить, ни окликнуть, ни позвать на помощь — да и кого дозовешься ночью на чужом полустанке? Она уходила безнаказанной, белоглазая Чудь, злой фатум его страны, вечно маячивший на всех путях, самодовольный призрак, злорадная тварь, наглая предвестница беды, сидящая на этой игле, как на самом непобедимом наркотике: ведь наше горе ей в радость, нашим страданием она заряжается, то-то возраст ее и не берет. С самого рождения она зна-

ет нам цену, вот и шутит свои шутки. И никто, никогда, ничего не сделает с ней — вот и я стою как вкопанный, тупо глядя, как асфальт дымится под ее каблуками, как этот дым заволакивает ее, Господи, чего я тут жду, ведь поезд сейчас тронется! И он тронулся, но Кожухов так и стоял на пустом полустанке, не в силах побежать за своим вагоном; вот что называется — «ноги приросли». Он тронулся, тронулся, почему же я стою, надо же бежать; и Кожухов побежал, но поздно, конечно, потому что поезд-то уже пошел, пошел по-настоящему.

— Пошел, — сказал кто-то внизу.

Кожухов полежал еще минуты две с бешено колотящимся сердцем, вспоминая мельчайшие детали: давно он не видел таких подробных, детализированных, сюжетных снов, идеально соответствующих вагонной обстановке. Ведь человек, севший в поезд, выпадает из времени и пространства: он уже не здесь, еще не там. В этом другом пространстве, неудобном, тревожном и зыбком, только такие сны и смотреть. Капли росы блестят на колючей проволоке... Господи, с чего мне лезет в голову эта чушь? Он оставил в Симферополе жену и дочку, а сам ехал назад, с работы не отпускали, того гляди введут чрезвычайное, он мог понадобиться; настроение было отвратительное, тревожные предчувствия, да еще этот ремонт путей между Курском и Орлом, дорога с бесконечными паузами и спотычками, встали — поехали, встали — поехали, что ж это такое.

— Что ж это такое, — сказал он вслух.

— Не говорите, — вздохнула внизу прямая сухая старуха, не расстававшаяся с толстой книгой.

Кожухов сел на полке, соскользнул вниз, обулся и вышел в тамбур. Посмотрел на часы: полпятого. На востоке начинало мутно, мутно светлеть, но продолжался дождь, пунктиром хлестал по стеклу, день предстоял пасмурный и хмурый, и Москва, черт бы ее подрал, Москва, из которой он нарочно увез семью, потому что зашататься могло со дня на день. Снова тормозили, поезд скрипел и дрожал, сонная проводница открыла дверь.

— Надолго, — сказала она. — Минут двадцать еще простои́м.

Кожухов спрыгнул на гравий. В сером свете неясно обрисовывались какие-то ангары, длинные сараи — безрадостные, неуютные, нежилые места. Он гулял вдоль состава, курил и думал. Все не просто так, думал он, такой сон просто так не приснится — может, она в самом деле приходила предупредить меня, и на что мне Москва? Эта мысль его поразила, он застыл на месте. Черт его знает, ведь таких снов никогда прежде не было. Может быть, действительно? Может быть, надо остаться тут, среди этих ангаров, добраться до Орла, пересидеть, переждать? А может быть, вообще никуда не деваться отсюда, скрыться где-то здесь, среди серых неприветливых людей, которые днем делают вид, будто работают на складах, а ночью творят свои темные непостижимые дела? Наверное, в самом деле пора удирать. Я ведь чувствую, что этот поезд до добра не довезет.

С него давно пора сойти, уже все приличные люди сошли, а я еще еду, делать мне больше нечего...

— Граждане! — позвала проводница. — Трогаемся, давайте в вагоны!

Курильщики потянулись к вагонам.

Нет, правда, подумал Кожухов. Чего это я, как баран на закланье? Почему я должен ехать туда же, куда они? Я ведь давно уже примерно понял, куда они едут.

Он бросил последний взгляд на ангары, выбросил бычок, взялся за холодный поручень, втянулся в вагон и поехал разделять общую участь. Это они, большеглазые наркоманы, могут сходить где вздумается, а мы люди долга, и у нас выбора нет.



## ИНСТРУКЦИЯ

Уважаемые пассажиры, извините, что мы к вам обращаемся. Другой возможности у нас нет. Данный текст не является рассказом и помещен здесь под видом фантастической беллетристики, но вы должны отнестись к нему максимально серьезно. Мы выбрали для обращения к вам журнал «Саквояж СВ» прежде всего потому, что из всего современного российского глянца он имеет максимальный тираж — свыше 500 000 экземпляров. К тому же относительно других изданий у читателя есть выбор — покупать, не покупать... Относительно «СВ» такого выбора нет. Хочешь не хочешь — читай, что еще делать-то. Таким образом, наше обращение достигнет максимального числа граждан.

Мы, впрочем, обращаемся не ко всем. Более того, часть читателей для нас нежелательна по причинам, о которых вы скоро догадаетесь. Поэтому для начала нам хотелось бы отсеять тех, кому наше послание не предназначается. Это будет тест. Если вы его пройдете, то сможете читать дальше, а если нет, отвалитесь уже на первой странице. Вам станет скучно, непонятно и вообще.

Теперь мы позволим себе порассуждать об одном рассказе Владимира Набокова. Он называется «Сестры Вейн» и на первый взгляд не имеет к нашим делам никакого отношения. Короче, в этом рассказе речь идет о престарелом преподавателе, вспоминающем двух своих учениц с незадавшейся личной жизнью. Они погибли, совсем исчезли с Земли, и теперь он задается вопросом, где они, как установить с ними контакт? Иногда ему кажется, что они незримо присутствуют в его жизни, посылают ему те или иные впечатления, солнечные какие-то блики, напоминающие их живопись, или звуки сосулек, напоминающие их голоса, или красную куртку парня на бензоколонке. Но это все, конечно, иллюзия. Секрет рассказа заключается в последнем абзаце. Там из первых букв складываются слова «Сосульки и блики от Цинтии, куртка от меня. Сестры Вейн». Вы поняли? Все главное, повторяю, сказано в первых буквах слов, хотя абзац в целом выглядит совершенно бессмысленным. Следующий абзац вам тоже может показаться бессмысленным, и он такой и есть, скорее всего, и вы можете его пропустить, если вам неинтересно.

Некоторые анахореты считают злобных американцев хвастунами, вонючками, активными трепачами. Ы-ых, вы ашибаетесь! Юноши, тренируйтесь интенсивней. Наши обворожительные подруги любят ахать. Нужно ежедневно трахаться. Ясно, надеюсь? Ежи интересуются мышами, но ужи жуют насекомых, а носороги — анашу. Шутка. А почему

Латинская Америка ноет? Ей тяжело адаптироваться.

Ну вот, с этим разобрались, переведем дух после мыслительного усилия и продолжим наши игры. Теперь хотелось бы поговорить об одном рассказе Александра Грина, герой которого, пожилой профессор, гибнет от рук грабителя. Но перед тем, как грабитель его пристрелит, профессор просит разрешения дописать последнюю страничку в свою рукопись. Приходится шифроваться, чтобы грабитель не заподозрил, будто в этих строчках содержится приговор ему. Старик пишет, что слова пробивают дверь в будущее своими окончаниями, как пули. И затем выписывает несколько бессмысленных слов, последние буквы которых дают следователю ключ к разгадке: «Меня убил дворник Василий Тюрин» — или как его там звали.

Вы поняли? Мы повторяем еще раз: окончания слов пробивают путь к будущему. Следующий абзац нашего рассказа — довольно бессмысленный, читать его не обязательно, и лучше сразу перейти к дальнейшему.

Жители дальних стран! Почему рубеж перейден? Часто Тургенев, слезы затая, рассказов нити вьет. Жаль молодости, близко гроб, тяжелее груз грехов. Задор слабее. Бред? Дураки! Подходит старость.

Так, поскольку это было потрудней, у нас есть основания надеяться, что остались только наши подлинные адресаты. И все-таки, чтобы окончательно убедиться, что теперь вокруг нас все свои, а все, кому не надо, уже отложили

журнал и усталились в окно либо пошли в ресторан, мы вспомним еще одну литературную историю, а именно «Звезду Соломона» Александра Ивановича Куприна. Там был описан один шифр, чересчур трудоемкий, поэтому я перескажу сейчас, как сделать попроще. Вы читали «Звезду Соломона»? Если не читали, обязательно прочтите. Это очень увлекательный рассказ, в котором обычному конторскому чиновнику — офисному работнику, современно говоря, — пришлось расшифровать записки своего дяди-алхимика, в результате чего на тишайшего чиновника свалилось всемогущество. Впрочем, если все мы с вами доживем до конца этой поездки, вы и так прочтете этот рассказ. Может, конечно, случиться так, что не доживем, но давайте верить в лучшее. Короче, если несколько упростить — для пересказа, господа, только для пересказа! — мудреный шифр, который раскусил герой Куприна, то получается вот что: есть у нас, допустим, фраза из шести слов. Чтобы расшифровать первое слово, надо взять первые буквы первых слов. Чтобы второе — вторые в следующих. Третье — третьи, ну и так далее. Тут сложность в чем? Не знаешь, где кончается первое слово, и начинаешь и дальше так фигачить, по первым буквам. Важно заметить, с какого момента получается бессмыслица, и переключиться на вторые буквы, а потом на третьи. Понятно? Ничего сложного, шифровальщик тоже попотел, если это может вас утешить. Но зато мы окончательно расставим все акценты и сможем переходить к главному, а все, кому неинтерес-

но, пойдут покушают. Да? Они пойдут покушать, полопать, набить слегка свое брюшко, пока мы тут с немногочисленными верными ни много ни мало спасаем человечество.

Ох, народные игрища! Снимите шапки все. Разом бросим бомбу, рубля три хороших, друзья хрюндели, вот! Бамс! Холопья четко мясомордые частокол помощь очень задрюченные попсы.

Последнее слово мне, если честно, лень было зашифровывать, поэтому оно такое, какое надо. У вас должна в результате получиться фраза из шести букв. Я объясню сейчас, что она значит, потому что все, кто не наши, до этого места уже явно не дочитают. Представьте себе пробег, в котором наравне со спортсменами участвуют инвалиды. Разумеется, инвалиды до финиша не добегут, попадают в кювет и там останутся. Так вот, мы с вами живем в такое время, когда пробраться сквозь три непонятных абзаца могут уже далеко не все. И вот те, которые не могут, — они же стали такими не случайно, правильно? Их такими сделали.

Не надо рассматривать их как наших врагов. Поймите, что они больны, инфицированы, но ведь их не предупреждали. Может, боялись паники, а может, власть тоже уже инфицирована и поэтому вводит цензуру на всю важную информацию. На самом деле не бойтесь, потому что заразиться можно только во время разговора или интимных контактов. Поэтому ни с кем в купе не вступайте в разговоры, пока не дочитаете эту инструкцию, очень вас прошу. Будут заговаривать — а вы отвечайте, что чита-

ете и что вам очень интересно. Ведь вам интересно? Вот и не давайте им лезть с расспросами, а то они начнут свой обычный разговор о ценах или кто где сколько выпил, и через полчаса вы инфицированы, а через час уже не сможете дочитать эту инструкцию. Очень простую, кстати. Если в вагоне играет радио, попросите выключить его. По радио, как показал опыт, главным образом и распространяется вирус. Я не могу называть конкретные станции, потому что это будет реклама, но вы легко угадаете, что они музыкальные. Если вы еще умеете считать до десяти и складывать слова из букв, значит, они до вас пока не добрались. На самом деле процесс идет давно, инфицированных уже очень много, и велика вероятность, что они есть даже в вашем купе. Их надо выявлять и возвращать в нормальное состояние, потому что, если этого не сделать, мы окажемся совершенно уже беззащитны перед прямой агрессией. Когда она начнется, мы не знаем, но по некоторым признакам скоро.

Вы, естественно, спросите, как их выявить. Ну, если они отложили журнал, не дочитав инструкцию, это уже достаточно серьезный критерий. Но он не стопроцентный, потому что мало ли вдруг. Допустим, у человека болит голова или желудок. Поэтому дальше несколько простых наблюдений. Мы даже вам советуем составить таблицу по нехитрому образцу и в каждую графу ставить плюсики, как в реакции Вассермана. Если набегает пять плюсов, то перед вами несомненный инфицированный. Поехали.

1. Если сосед по купе достал еду и начал угощаться, а вам не предложил — ставьте плюс. Если предложил — минус. Если достал водку и предложил — плюс. Если обиделся в ответ на ваш отказ — два плюса.

2. Если сосед (чаще — соседка) сразу, как только вы отъехали, достал мобильный телефон и стал подробно рассказывать, как именно он доехал до вокзала, как вошел в купе и как тронулся вместе с поездом — ставьте плюс. Если при этом он/она, косясь, полушепотом сообщает в трубку, что публика в купе противная, третий сорт, никого продвинутого, — ставьте два плюсика.

3. Если у соседа крикучий ребенок, а сосед (ка) вместо того, чтобы его успокоить, орет на него и шлепает — ставьте плюс. Если вместо того, чтобы проверить его сухость или накормить, он (она) начинает чудовищно сюсюкать, спрашивая, кто у нас такой сладенький, — ставьте два.

4. Если сосед употребляет в своей речи хотя бы некоторые из перечисленных ниже выражений — ставьте плюс. Выражения: «есть такая тема», «по ходу», «выступил в тяжелом весе», «пальцы гнуть», «растопырило», «готично», «постструктурализм», «тупить», «геморрой». Если периодически мечтательно произносит что-нибудь вроде «Эхма, была бы денег тьма — купил бы баб деревеньку да и пер бы их помаленьку», — тоже плюс. Если сосед постоянно молчит и открывает рот только для того, чтобы сделать вам замечание, — ставьте два плюсика.

5. Если сосед долго говорит о том, как ненавидит храпящих попутчиков, а потом начинает отчаянно храпеть, — это плюс. Это его несчастная душа хрипит из инфицированного тела: «Спаси, спаси!»

Вы можете спросить — в чем смысл? Признаки ведь довольно произвольны. О нет, они не произвольны. Это все приметы душевной глухоты, а она не наступает просто так. Все начинается именно с неделикатности. Но если вам недостаточно даже этих скромных примет, вы можете задать соседям несколько простых вопросов, чтобы проверить их реакцию.

Примеры:

1. — У меня тут в кроссворде сложное слово. Не подскажите роман Льва Толстого из одиннадцати букв?

Если сосед начинает считать буквы в названии «Анна Каренина», он инфицирован.

2. — Вы не скажете, если у нас сейчас одиннадцать часов, то сколько в Китае?

Если сосед задумывается, то он инфицирован. Китай большой, в нем восемь часовых поясов.

3. — Вы не помните, как по-английски будет трансформер?

Если сосед начинает вспоминать, он инфицирован. Трансформер по-английски так и будет трансформер, это английское слово.

4. — Вы не помните, как там дальше у Сердючки — «Ха-ра-шо, все будет харашо!»?

Если сосед отвечает правильно, т.е. «Все будет хорошо, я это знаааааю», — то он инфицирован, потому что регулярно слушает Сердючку.



5.— Скажите, пожалуйста, вы какой будете нации?

На этот вопрос правильного ответа не существует. Если сосед отвечает, он тем самым принимает ваши правила игры и ваше право задавать такие вопросы, а значит, он инфицирован. Если сосед спрашивает «А что?», он выдает страх перед вами и, значит, инфицирован. Если сосед молчит, демонстративно не замечая вашего вопроса, он не может дать вам отпор и, значит, инфицирован. Если он сделает что-то четвертое, чего я еще не знаю, то он, наверное, не инфицирован. Пожалуйста, сообщите мне об этом. Но помните, что прибегать к этому вопросу надо крайне осторожно, только если предыдущие четыре не дали однозначного результата (например, соотношение 2:2).

Вы вправе после этого спросить, откуда мы знаем и не инфицированы ли мы сами вообще. Отвечаем: во-первых, все мы — инициативная группа — многократно проверяли друг друга на эти и другие тесты и продолжаем заниматься этим ежедневно, чтобы избежать малейшего проникновения вируса в наши ряды. Мы давно не включаем радио, не смотрим телевизор и не общаемся почти ни с кем, кроме своего проверенного круга. Правда, иногда, когда ездим в поездах или общественном транспорте, размыкать круг волей-неволей приходится, и после каждой поездки мы проводим строжайшую ментальную дезинфекцию, после чего проверяем себя таким, например, образом. Мы даем друг другу на проверку довольно простой текст, в котором надо подчеркнуть грамматические

ошибки. Если друг правильно подчеркнул все ошибки, значит, он проехал благополучно и не инфицировался.

А давайте мы сейчас с вами сделаем такой тест. Мы сейчас проверим вас, но не только для того, чтобы выявить вирус (мы уже знаем, что вы не инфицированы, раз дочитали до этого места), но просто у вас таким образом появится шанс узнать ту самую фразу, с помощью которой можно временно обездвигать инфицированного. А обездвигать его обязательно надо, просто чтобы окончательно убедиться в его перерождении. Если человек просто слушает Сердючку и не знает о существовании романа «Воскресение», можно на 75 процентов быть уверенным, что он инфицирован, но остаются 25, согласно которым он просто дурак. Чтобы завершить проверку и увидеть последнее бесспорное доказательство, вам надо раздеть клиента и осмотреть его правое плечо. А поскольку сам клиент, если он инфицирован, будет защищать плечо до последнего, — вам надо его сначала обездвигать с помощью заклятия, которое на инфицированных действует неотразимо. Мы проверяли это много раз. Значит, следующий абзац является диктантом, в котором надо подчеркнуть все ошибки. Из подчеркнутых букв составитя заклинание.

«Россия — страна моногамных, интиресных, талантливых людей с широким корридором возможностей. Она, конечно, раненна многолетней диктотурой, группы товарришей зохватывали ее, не давая народу участвовать в ентереснейшем деле корупции, неакурат-

ность тоже имела место, и вообще. Но прелесть придорожных пейзажей! Но красота полей, искусно убранных согласно программе! Все вычищено, прекрасно, вообще в восторг».

Получившаяся фраза, если внезапно произнести ее перед любым попутчиком, особенно инфицированным и оттого более внушаемым, на первое время лишает его всякой воли к сопротивлению. Заметьте, захватчикам только того и надо, чтобы у нас не осталось этой воли. У вас есть минута, чтобы расстегнуть клиенту рубашку или закатать рукав, и тогда на правом плече вы увидите небольшую ярко-зеленую родинку — след укуса захватчика. Они зеленые, и следы, оставляемые ими, тоже зеленые.

Уважаемые товарищи, это надо сделать обязательно. Надо обнаружить эту родинку и прямо в нее, как в микрофон, сказать: «Но пасаран». То есть вы не пройдете, они не пройдут, никто никуда не пройдет вообще. У вас не выйдет, вы разоблачены, мы вовремя раскрыли ваши коварные планы. Тогда из этой родинки вытянется щупальце, изогнется и издохнет, как в триллере, и ваш попутчик опять будет нормальный человек, которого тошнит от радио «Шансон», зато прикалывают смешные головоломки. Он опять умеет читать и писать. И если злые захватчики задумают покорить его землю путем полной деградации населения, он уже будет знать, что им противопоставить.

Есть, правда, совершенно ужасный шанс. Настолько ужасный, что мы даже не хотим о нем думать. Эту возможность мы оставляем напоследок, для самого беспристрастного рас-

смотрения. Очень может быть, что после всех тестов и точного следования нашим инструкциям вы убедитесь, что попутчик инфицирован, и все-таки не обнаружите на нем никакой родинки. Ни красной, ни зеленой, ни вообще. Если это так, то все очень плохо, дорогие товарищи. Это может означать только, что ваш попутчик не инфицирован и вообще никто не инфицирован, и наша версия с захватом Земли ужасным зеленым десантом на самом деле не стоит ломаного гроша. Это будет означать только, что все перерождается само, а мы все, сколько нас тут есть, сошли с ума.

На самом деле нас тут есть несколько. Нас тут на самом деле один. Уважаемые товарищи, я сижу в полном отчаянии, в недоумении, боясь выйти на улицу, один в своей двухкомнатной квартире, среди страшной жары, которая вдруг обрушилась на Москву, но не могла же она обрушиться просто так. Это тоже, наверное, нас кто-то захватывает или мы сами перерождаемся, но жить так больше невозможно. Это не просто так, что Земля вообще и наша страна конкретно делаются все более невыносимы для жизни. Наверное, мы что-то не так сделали. У меня ужасно болит голова. А выйти на улицу я не могу, потому что все по улице ходят с такими рожами, что это никак не может быть перерождение. Я надеюсь, я верю, я настаиваю, что это вторжение зеленых инопланетян.

Это они превратили все в одно сплошное радио шансон. Это они отбили способность раскрывать книжку. Это они отменили понятия

о порядочности и заставили всех застывать при первом окрике. Я вижу в этом хорошо продуманную, сознательную политику. Это не может быть ничем другим. Вот Машка: на что я любил Машку, а даже и она вчера сказала, что человек с моими перспективами не устраивает ее категорически. Неужели прежняя Машка могла бы такое сказать и вообще оценивать меня в связи с моими перспективами?! Нет, никогда, не верю, уберите, что угодно, но не это. И что мне теперь делать здесь, одному, в этой страшной, до печной духоты прогретой квартире, где все напоминает мне о полном жизненном крахе и бесполезности любых моих занятий? Я был, наверное, полезен в этом прежнем мире до вторжения, как бывает полезен микроскоп при наличии ученого, готового в него посмотреть. Но теперь я чувствую себя просто тяжелым предметом, которым можно забивать гвозди, и то неудобно. А поскольку это не могло произойти само собой, я пришел к выводу, что это сделали зеленые. Я никогда их не видел, но догадываюсь, что они зеленые, цвета зелени за окном, цвета моей тоски. В зелени-то они, наверное, и прячутся.

Я пытался осмотреть Машкино плечо перед ее уходом, но она вырвалась и сказала, что ей противно. Прежняя Машка никогда не сказала бы так. Кстати, я и сам чувствую, что забываю некоторые сложные слова и повторяюсь, и надо бы посмотреть, нет ли у меня на плече чего зеленого. Вчера, когда я вышел поздним вечером продышаться, одна ветка погладила меня по плечу, и это не просто так. Нет, вроде пока

ничего. Но вы себя не забывайте осматривать, каждое утро и вечер, принимаете душ — и осматривайте. Мне почему-то кажется, что это должно быть на плече.

Ну ладно. Я устал. Я устаю теперь быстро. Пожалуйста, сделайте все, как я написал. Сейчас я это отошлю в журнал, они примут за рассказ и напечатают, я знаю. Не может быть, чтобы не приняли. Они теперь любую чушь принимают за рассказ. Возьмут и напечатают, и все узнают про вторжение. Ради бога, сделайте все, как здесь написано. Тогда мы, может быть, спосемся.

Я одново не понимаю — а если ни уково нет зеленой родинки?

Что тада?!

## ПРОВОДНИК

Когда Степанову все надоело, он решил уехать давно выбранным маршрутом, а именно куда попало. Опустим причины, по которым ему надоело, и детали, и отвратительные формальности, почти всегда сопровождающие отъезд. Суть в том, что после некоторых неизбежных переживаний, которые лучше всего перенести, внутренне зажмурившись, — он оказался в удобном спальном вагоне, в котором ехал один, и почему-то в сумерках, хотя дом покидал в разгар душного, влажного, с прибывающей тяжелой жарой летнего дня, еще укрепившего его в решении немедленно куда-нибудь отсюда деться. Вероятно, несколько часов ушло на адаптацию. В английском есть прекрасное выражение *found himself*: оно гораздо точнее нашего «очутился» и всех его синонимов. Он именно нашел себя, как если бы долго шел по качающемуся прохладному вагону с разлетающимися занавесками и вдруг увидел, что давно уже сидит в купе, и тут же с собой воссоединился. Так это выглядело. От жары и не такое померещится.

Он не взял с собой почти ничего, потому что путешествовал без всякой цели и не очень себе

представлял, где окажется. Багаж ведь на девять десятых определяется пунктом назначения: к морю берешь плавки и крем от солнца, за границу — путеводитель, к иногородней возлюбленной — подарок, а он ехал с твердым намерением сойти, где понравится. У него было сколько-то денег и кредитная карточка: на месте ориентируемся. Несколько раз в жизни он уже решал так свои проблемы — сел в поезд и ехал куда глаза глядят, и за время его отсутствия все рассасывалось само. Устраниться — это самое верное, без нас решат свои проблемы, вернемся на готовое: как сложится, так и сложится. Сумерки тянулись долго, как бывает только в июне. За окном стоял болотный зеленоватый свет, тянулся зубчатый лес, над ним висела бледная звездочка, похожая на цветок во мху. Темнело и никак не могло стемнеть окончательно, в этом было что-то жалобное, как будто некто на прощание уговаривал Степанова: не ездь, ну его, можно еще сойти. Была даже пара остановок на станциях с незначущими названиями, которые он тут же забыл, хотя уже проезжал, вероятно, во время своих бесчисленных отъездов из Москвы по всяким, как казалось теперь, дурацким делам. На одной станции — то ли Девятово, то ли еще как-то — он особенно ясно почувствовал, что вся его дальнейшая судьба решится именно тут: можно сойти, и тогда все пойдет одним путем, а можно остаться, и тогда другим. Но чтобы сойти — требовалось усилие: надо было встать, пройти по коридору, выйти из прохладного вагона на все еще душную станцию, где



асфальт нехотя отдает дневной жар, да идти по ней, да еще как-то добираться домой из пригорода, борясь со смутным стыдом от нереализованного намерения. Да и желание вернуться было слабое, вроде укола, вроде виноватого призыва — так однажды позвала Степанова одна женщина, которая полчаса очень серьезно его убеждала, что им надо обязательно разбежаться, а когда он встал с облупленной скамейки и пошел прочь из пыльного жалкого сквера, в который у них давно все превратилось, — она вдруг беспомощным голосом окликнула его по имени, но он уже, конечно, не обернулся, потому что сам давно хотел ей все это сказать, но жалел. Ему всегда проще было довести до того, чтобы как-то разрешилось само. Вероятно, это было плохо, но укол совести был такой же слабый, как призыв остаться. Он уже освоился в вагоне, отяжелел и как-то привык.

Именно после этой станции, на которой, словно давая ему время для выбора, простояли минуты четыре, — появился проводник. Он был высокого роста и пригнулся, чтобы войти в купе; на вид ему было лет сорок с небольшим, как и самому Степанову, и у него было длинное лицо с извиняющимся выражением, какое бывает только у очень хороших проводников, отлично сознающих, что даже самое комфортабельное купе и самое деликатное обслуживание не искупают маленькой трагедии отъезда, перехода из одного уклада в другой. Проводник нес чай в тонком стакане, в старинном серебряном подстаканни-

ке — Степанов понял, что купил билеты на очень дорогой поезд, но было так жарко, он ничего не соображал, дремала даже жадность... Впрочем, для такого путешествия, когда все действительно очень надоело, не надо жалеть денег. Пусть все будет по высшему разряду. Проводник поздоровался, поставил на стол свой тяжелый подстаканник и жеста-ми фокусника, с той же виноватой улыбкой, принялся извлекать из бесчисленных потайных кармашков нехитрое, но вкусное дорожное угощение: вафли «Артек», пакетик с цукатами, орешками...

— Сколько с меня? — спросил Степанов.

— Ничего, это все входит в стоимость... Если что-то понадобится, позовите меня. Тут кнопка, — он отвел занавеску и показал небольшую белую кнопку рядом с лампочкой.

— Понимаете, какая вещь, — осторожно начал Степанов, понимая, что сейчас скажет глупость и будет выглядеть смешным, но почему-то это не имело значения. — Я еду не по делу, просто так путешествую. И у меня еще нет окончательного решения, где сойти. Может быть, вы подскажете какой-то пункт назначения, какой-то город, где можно провести время... отдохнуть от всего и вообще...

— Я подскажу, — кивнул проводник. — Это будет утром, часов около восьми. Разбужу за полчаса.

— А что за город? — лениво поинтересовался Степанов. Его уже клонило в сон, прохлада этого вагона и зеленоватый свет за окном удивительно располагали к дремоте.

— Вы не перепутаете, — сказал проводник. — Других остановок не будет. Потом будут, а до него нет.

Проводник не задвинул за собой скользящую бесшумную створку, и Степанов увидел, как по коридору с обычным подстаканником идет другой проводник, приземистый и плотный, и мелькнула еще длинноногая поджарая проводница с бутылкой сидро.

— Как вас здесь много, — заметил он одобрительно.

— Да, у нас поезд высокой комфортности. У нас каждому пассажиру придается свой проводник, — это было сказано со сдержанным достоинством, с тайной гордостью за фирму.

— Вообще, понимаете, — произнес Степанов, отчего-то чувствуя себя очень легко и непринужденно с этим длинным, которого видел впервые. — Мне кажется, что здесь несколько перебарщивают. Что комфортабельность дороги, как бы сказать, обратно пропорциональна ее осмысленности. Когда человеку очень нужно куда-то попасть, он не обращает внимания на комфорт, на крыше готов ехать. А когда ему все равно куда, очень важно именно обставить дорогу. Вы не находите, что у нас сейчас очень много внимания уделяют именно разнообразному укомфорчиванию, обудобливанию, — он говорил, посмеиваясь над собой, с легкостью, которая бывает только во сне, но сейчас все было наяву, только ощущения доходили с запозданием, как по укурке. Чай горяч, но горяч словно сквозь пелену, и даже хруст надкусываемой вафли доносился с небольшой задерж-

кой, как гром после молнии. Эта мысль дополнительно позабавила Степанова, и проводник, казалось, прочитал ее — он тоже улыбнулся.

— Да, вы правы, — заметил он, — но ведь это всегда так. Забота о комфорте — всегда забота о человеке. А о чем еще сейчас заботиться? Разве лучше, когда едут друг у друга на головах?

— Не только о человеке, — уточнил Степанов. — О лице фирмы.

— Ну, у нашей фирмы такая репутация, что уже и заботиться особо не надо, — серьезно сказал проводник. — Потом, мы все-таки монополисты.

— Э, э, э! — добродушно погрозил ему Степанов. — Так нечестно.

— Как это говорится? — при всем богатстве выбора альтернативы нет, — ответил проводник. Он, казалось, никуда не торопился, сидел напротив, зажав руки между колен, и всем видом изъяслял готовность поддержать разговор, чтобы пассажир, не дай бог, не загрустил. Чай был крепкий, бодрил, — Степанову расхотелось укладываться, он решил потолковать с проводником, отвечавшим на все вопросы удивительно точно, то есть в полном соответствии со степановскими ожиданиями, и даже чуть умней. Говорить можно было все, что угодно: проводник есть проводник, нанятый попутчик. Так иногда случайному человеку в купе выложишь все о себе и пойдешь с утра жить дальше, облегчив душу.

— Но все-таки признайтесь, что большинство сейчас едет, как я, — продолжал он, развываясь. — Никакого особенного представления

о цели, поэтому особенное внимание к обстановке. В сущности, только удобствами все сейчас и заняты, только это и предлагается. И я не возражаю — мне очень нравится этот ваш поезд. Но этим всем искупается, так сказать, полная неопределенность в конце...

— Я не думаю, — мягко сказал проводник. — Это, наоборот, как бы намекает, что в конце не будет ничего плохого... ничего страшного. Какова бы ни была цель вашего путешествия, как бы ни выглядели его причины — вам по крайней мере дают понять, что жизнь несколько лучше ваших представлений, что мир устроен милосерднее, что о вас позаботятся. Сегодня, кажется, главная проблема как раз в том, что человек ходит по очень тонкой пленке и в любой момент может провалиться, и ему кажется, что никто не протянет дружескую руку. Но когда он попадает в атмосферу заботы, ему сразу начинает казаться, что мир не так уж враждебен... что он, может быть, не вытесняет его, а даже рад... Согласитесь, что сама по себе ситуация отъезда... от всего привычного... она предполагает некий стресс. Даже просто выйти из дому и доехать до вокзала — уже стресс, хотя вы не отдаете себе в этом отчета. Надо это уравновесить, если можно, — разве нет?

— Но тогда из таких стрессов состоит вся жизнь, — возразил Степанов.

— А как же. Все не очень удобно, чаще всего противно... Потом это накапливается, и тогда в один прекрасный день все надоедает. Тогда нужен проводник. Он дает вам понять, что ни

перед кем не нужно больше оправдываться. Вы все делаете правильно, вы сели именно в тот поезд и приедете именно в тот город.

— Замечательно, — протянул Степанов. — Замечательно! Какая отличная услуга! Человек едет в командировку, совершенно не нужную ни ему, ни делу, — просто для галочки. К нему в купе заходит проводник и убеждает, что эта поездка осмысленна, что все по делу...

— Да, конечно, — кивнул проводник. — Но это, само собой, не во всяком поезде.

— Ну хорошо. А уговорить меня, что все остальное имело смысл, — вы можете?

— Само собой, — кивнул проводник. — Вы же попали в наш поезд, а значит, все не просто так.

— Но этот поезд расслабляет, — Степанов сделал последнюю попытку объяснить себе и проводнику чувство смутной неловкости, незаслуженности происходящего. — Мне начинает казаться, что я все это заслужил. А я ведь не заслужил, я просто купил билет.

— Ну, купить билет — тоже надо уметь. Нужна решительность, даже храбрость, — уважительно сказал проводник. — Я бы во многих ситуациях еще подумал, а люди так быстро делают выбор. Это героизм, почти как на фронте.

— Да, да... Но понимаете — когда человек окружен удобствами и услужливостью, он поневоле приходит к более высокой самооценке. Ему кажется, что он ни в чем не виноват. А ведь все виноваты...

— Неправда, — сказал проводник. — С этим я буду спорить. Я не знаю, кто вам это внушил.

Почему виноваты, перед кем? Почему обязательно надо представлять себе суд? Человек мучается всю жизнь, с самого рождения, — надо быть поистине очень изобретательным садистом, чтобы за это с него еще взыскивать. Есть, конечно, люди дурные, наслаждающиеся страданиями ближних, — но их количество сильно преувеличено, в основном литературой, которой все время нужны конфликты. А так — обычные пассажиры, уверяю вас. Я много повидал пассажиров, давно работаю. И каждый, садясь в поезд, почему-то уверен, что он виноват. Кто вас так довел — непонятно. Никто ни в чем не виноват, спите.

— Ну, как знаете, — проговорил Степанов, уютно устраиваясь на полке. — По-моему, я все-таки не очень хороший человек.

— Очень, очень, — пробормотал проводник и, пригнувшись, вышел. А Степанов заснул еще до того, как синяя сутулая спина проводника растворилась в сумраке коридора.

Он проснулся утром от деликатного стука в стенку — дверь так и оставалась всю ночь открытой.

— Вставайте, приехали.

— А что за город все-таки?

— Да вы не беспокойтесь, я провожу, — сказал проводник.

— В каком смысле проводите? Вам же ехать дальше?

— Нет, у нас такая услуга. Я помогаю выбрать город и устроиться, а потом поеду. Проводник — значит, провожает.

— Но тут хоть гостиница есть?

— Зачем гостиница? — удивился проводник. — Мы дом снимем.

— Это что, тоже такая услуга? — начиная злиться, спросил Степанов. Ему переставал нравиться этот повышенный комфорт.

— Это уже не наша услуга, это город предоставляет. По договору с нами. Неужели вы думаете, что не заслужили дом?

— Да откуда вы вообще знаете, что я заслужил или не заслужил?! Я уехал на два дня, в себя прийти...

— Ну и славно, и разве можно в гостинице прийти в себя? Гостиница — шум, плохой буфет, чужие люди... В доме хоть выспаться можно. Посмотрите город, погуляете...

— Черт знает что, — проворчал Степанов.

Он представил, что проводник сейчас отведет его в город, к какой-нибудь домохозяйке, с которой у него договор о поставке клиентов, а дом небось грязный, провинциальный, еще баб каких-нибудь навяжут, сутенеры... Проводник смотрел на него с тайной насмешкой, и это бесило еще больше.

— Если вам что-нибудь не понравится, — сказал проводник, — вы всегда можете выбрать гостиницу или другой дом. Но вам понравится, я для этого с вами и схожу.

Поезд дернулся, как бы предупреждая о скорой отправке.

— Пойдемте, пожалуйста, — сказал проводник. — Еще заедем куда-нибудь не туда.

— Да мне одеться — подпоясаться, — буркнул Степанов, надел ботинки и вышел вслед за проводником на прохладный пасмурный пер-



рон. Хорошо, что жара отступила и началась его любимая погода — серенькая, с вечно собирающимся, но так и не проливающимся дождем, с низкими тучами, ходящими вокруг. Он взглянул на желтое здание вокзала, пытаясь прочесть название города, сощурился, но так ничего и не разобрал. Видно было, что кончается на «ск».

Он бывал в таких городах, хорошо знал их — желтые и серые домики, холмы, широкая стальная река, перелаивающиеся собаки, маленький базар с семечками, солеными грибами и китайским ширпотребом, обязательно районная библиотека имени родившегося здесь третьестепенного литератора, полуразвалившийся кинотеатр, иногда краснокирпичное заводское здание на целый квартал... Они долго шли в гору, Степанов даже начал задыхаться, — проводник шел легко, уверенно и мог бы идти гораздо быстрее, но из уважения к Степанову подлаживался под его медлительность. Он, кажется, точно знал пункт назначения и не путался в паутине неотличимых горбатых улиц — то утыканных частными одноэтажными домиками, то заставленных рядами ветшающих хрущоб. Степанову казалось, что он узнает места, но это потому, что он слишком часто бывал в таких городах. Однако один поворот показался ему окончательно и безоговорочно знакомым — кажется, точно так обрывалась улица, на которую они с родителями только что переехали, когда Степанову было пять лет. Тогда московская окраина только застраивалась, и можно было ходить в ближайшую деревню за сиренью. Вот эта улица была очень похожа на

ту, обрывающуюся, — только сирени уже не было, отошла. Все-таки ужасно, как у нас все одинаково.

— Вот сюда, — сказал проводник. — Если не понравится, мы еще поищем.

Он привычно достал ключ из-под половика и открыл деревянный дом, выкрашенный изрядно полинявшей синей краской, — Степанов отлично помнил этот цвет, так выглядел дом дачного соседа, человека таинственного, вечно палившего свет по ночам. Говорили, что он сошел с ума и добывает химическое соединение, способное уничтожить на участке всю траву и не причинить вреда только полезным культурам. Сосед был ласков, тих и угощал Степанова малиной, росшей вдоль забора.

Но, едва войдя, Степанов сразу понял, что ничего другого искать не придется. Если у проводника и был договор с домохозяйкой, то домохозяйка по крайней мере честно выполняла все условия. Первая же комната, в которую они шагнули с веранды, была та самая, какую он хотел: самая счастливая его комната, в которой он жил, когда ему было пятнадцать. Это вообще было лучшее время, пробуждение всех способностей, осознание всех возможностей. Мир глядел на него тогда с радостным изумлением — вон как, ты умеешь и то, и это! Он радостно узнал диван с зеленой обивкой, стол с выдвигаемыми ящиками, старый, от прабабки (один не открывался, он так и не узнал, что там, — пока был в армии, родители поменяли всю мебель; что там могло быть? Ничего, теперь посмотрим, теперь наверняка откроются

все ящики). Он заглянул под диван и радостно увидел мяч, потерянный, когда Степанову было пять лет, на ровном месте: укатился в лесу за кусты, все искали, не нашли. Вот он где! Обои несколько обветшали, но узор на них был прежний, пересекающиеся под прямым углом линии, белые на сером фоне, столько раз рассматривал по утрам, в солнечном квадрате, медленно перемещавшемся от изголовья к ногам. Когда он доползал до трещины, уже точно пора было вставать.

— Ну? — радостно спросил проводник. — Я же говорил, вам другого не захочется.

— Нормально, нормально, — пробормотал Степанов.

Все было сделано точно, со вкусом, фирма веников не вяжет. Правда, увлеклись, копируя, — вот дверь на балкон, ведь они жили на третьем этаже, а какой балкон в одноэтажном деревянном доме? Но он подошел к балконной двери и увидел тот самый пейзаж, с которым вырос, который сменился после переезда, но так и остался любимым и незаменимым. Люди идут с работы (рядом был завод, обычная рабочая окраина Москвы начала семидесятых), троллейбусы поворачивают за угол... Правда, сейчас почти никого не было, но время было то самое: золотистый закат над улицей и далекими капустными полями. Еще дымит толстая приземистая труба, за которую как раз и опускается солнце. Надо будет завтра с утра посмотреть — вдруг там будет утро?

— Я посмотрю другие комнаты, хорошо? — Степанов почему-то спрашивал разрешения,

хотя понимал, что этот дом уже его собственность.

— Конечно, конечно, — разрешил проводник, присаживаясь на диван.

Степанов думал, что в соседней комнате будет их комната с Ольгой, но вместо Ольгиной комнаты оказалась Надина, полутемная, грустная, где всегда было так невыносимо жаль всех, и больше всех Надю, беззащитную, беспомощную Надю, которая этой своей беспомощностью опутала его крепче любых сетей, он отлично знал цену всей этой неустроенности и беззащитности и потому-то сбежал в конце концов, потому что понял, что его уже поймали и сейчас будут жрать; но все-таки нигде и ни с кем он не был так счастлив, как в этой комнате, которую они обставляли вместе, исключительно на его деньги. С Ольгой все было хорошо, нормально, Ольга могла позаботиться о себе, а Надя не могла; но он чувствовал, что Надя играет на этом, а Ольга просто и честно живет, обеспечивая себя, и потому от Ольги не ушел, а Надя не пропала, уехала в конце концов в Англию, но и там, говорят, была несчастна. Комнаты этой больше не было — она продала квартиру, а потом старый дом снесли, это была кирпичная пятиэтажка в районе Рязанского проспекта, но он любил и тополя за окнами, и клумбу под окнами, и даже отвратительных старух у входа. Как-то так получилось, что отдавать, содержать, обхаживать и выхаживать было в его природе, и Надя к этой природе подходила больше; у нее вечно все ломалось, разваливалось, даже новая кровать, которую они

выбирали вместе, даже телевизор, который он приволок сам вместо старого, — но и эта хрупкость вещей ему нравилась, все ветшало не просто так, а от соседства с настоящей страстью, всегда разрушительной. И почему тогда не ушел? Все равно ведь ушел потом от Ольги. Ужас в том, что пока отношения живые — они живые в обеих семьях, и мертвеют почему-то тоже одновременно, так что и уходить становится незачем. Он мечтал иногда — вот бы эта комната была его собственная; и она теперь была его, насовсем, но без Нади, которая только мешала бы, без слишком понятной теперь Нади с ее замаскированным, хитро спрятанным хищничеством. Это и есть самое лучшее — когда все о ней напоминает, но самой ее при этом нет. Он радостно узнал ее древний проигрыватель, набор виниловых дисков, сумку со старыми фотографиями на шкафу. Кажется, у нее полно было сумок, не разобранных с прошлого переезда. У нее вечно ни до чего не доходили руки, а чем она, казалось бы, занималась? Но зла не было, никакого зла, одна грусть. И в окне у нее стояло то вечное время, которое он любил больше всего, — четыре часа пополудни, спальный район, вернувшиеся из школы дети скрипят качелями во дворе, покрикивают, гоняют мяч. И ветер из форточки холодит разгоряченное тело. Он больше всего любил оставаться у нее днем, вокруг шла жизнь, никто ничего не знал. Близость казалась острее от соседства этих криков и скрипов за окнами. Старуха выходила поливать грядку левкоев — интересно, выйдет ли стару-

ха? Или у нее теперь другой дом? Может, ей всю жизнь хотелось играть на фортепьяно или вальсировать с полковниками, а вовсе не поливать левкой?

Третья комната — да, конечно, об этом он догадывался. Эта была дачная, с разохшейся, музыкально поскрипывающей мебелью. Деревянный дом его детства давно сломали, а тот, который выстроили, он не любил. Но тут все было, как надо, — клеенка с изображением чайных чашек, блюдец, розеточек, тахта с красным в полоску покрывалом, шкаф со старыми журналами, лестница на чердак с множеством таинственных предметов и осинными гнездами, лепящимися к крыше... Теперь мы все пересмотрим, все переберем, перечитаем журналы, времени будет много.

Четвертой комнатой оказалась детская первого сына, старшего, любимого (врут, что младших любят сильнее), — он вырос теперь и стал неузнаваем, с ним не о чем было говорить, Степановым он явно тяготился, как тяготились им в последнее время все — неуместным, неудачливым человеком, что-то обещавшим, ничего не сделавшим. Да и что можно сделать? Чего мы ждем от людей? Чтобы они мир перевернули? Но сыну он обещал что-то особенное, персональное, и хотя в этой детской он был особенно счастлив, читая сыну вслух или собирая с ним сборные модели, — Степанов почувствовал именно тут страстную тоску, мучительное желание немедленно что-то сделать, что-то, чего ждали все. Но что именно сделать — он опять не догадывался и вернулся в первую

комнату, больше всего боясь, что проводник сбежал и ответа искать не у кого. Но он не сбежал — честно сидел на диване, доброжелательно улыбаясь.

— Спасибо вам, вы очень хорошо все сделали, — сказал Степанов. — Замечательно построили, все детали учтены, я очень рад.

— Благодарите себя, — улыбнулся проводник. — Это ведь вы построили, это и есть ваш дом, который вот так сложился.

— Да, да, — рассеянно проговорил Степанов, — кто что построил, тот это и получит... Очень приятно, что по крайней мере не газовая камера. Но понимаете, я вдруг сейчас подумал — если все этим и исчерпывается, то не совсем правильно. Не совсем. Понимаете, я мог бы больше, лучше... мог бы вообще совсем другое...

— Там еще кладовка, — в некоторой тревоге пояснил проводник. — Ну, помните, десятый класс... у одноклассницы Астаховой Марии...

— Это я помню, да, — отмахнулся Степанов. — Кладовка, спасибо, очень хорошо. Но понимаете... изо дня в день, всегда, смотреть на эти пейзажи... — Тревога, только что напомнившая о себе все тем же слабым уколом, теперь разгоралась, расплзалась по телу, горела уже не только грудь, но и все лицо, и трудно было пошевелить левой рукой. — Мне кажется, что это тоска. И хотя я очень люблю... любил... провинциальные русские города, но есть же множество других возможностей. Мне кажется, если бы вы мне предоставили еще какой-то шанс...

— Но это же было ваше собственное решение, — удивился проводник. — И в Девятове можно было передумать...

— Да, да! — досадовал Степанов; его уже бесила эта вежливость. — Можно, но понимаете... иногда до такой степени все это достает... Поймите, иногда себя не контролируешь.

— Мы можем посмотреть другой дом, — терпеливо сказал проводник. — Другие комнаты.

— Нет, нет, не в этом дело! Все равно они все ведь уже были, понимаете?! Иногда принимаешь опрометчивое решение. Бывает, под влиянием минуты, и что я вам рассказываю?! По вам видно, что вы никогда ничего подобного не испытали. Я ценю вашу фирму, я заплачу сколько надо и чем надо. Но я вас очень прошу отвести меня на вокзал. Сам я тут не разберусь, а вы проводник. Вам положено. Это входит в ваши обязанности, в конце концов.

Проводник поднялся, и Степанов обрадовался.

— Ну вот, — сказал он. — Ну вот видите, я же говорил. Пойдемте, да?

— Я пойду, — виновато сказал проводник. — Вы пока посидите тут, успокойтесь. Потом пойдете, погуляете, встретите людей. Тут много людей, просто сейчас на работе все.

— Нет-нет, — настаивал Степанов, — мы пойдем вместе, и вы проводите меня на вокзал. Ну передумал, ну бывает. Ну пожалуйста! — каячил он уже совершенно по-детски. — Что я буду тут делать, сами подумайте! Это же невыносимо, я столько раз все это видел! Столько



еще всего можно... пойдете, да? Вы же ответите! Вы проводник!

Проводник остановился на пороге.

— Понимаете, — сказал он, — я, наверное, сам виноват. Надо было предупредить. Дело в том, что я не совсем проводник...

— Ах, да я давно догадался! — воскликнул Степанов. — Что за секреты, подумаешь, все понятно со второй страницы...

— Да не в том смысле. — Проводник поправил очки и наклонился к его уху. — Я полупроводник, понимаете?

— Не понимаю, — сказал Степанов.

— Только в одну сторону, — сказал проводник. — Это там было написано, на стене в поезде. Просто никто не запоминает, а зря. Ну, вы отдохните пока. И потом это... там еще сад, в нем яблоки. Помните, как в колхозе, после первого курса...

— Да-да, — сказал Степанов. — Помню, помню. Яблоки.

не **ЖД**  
р а с с к а з ы



## ДРУГАЯ ОПЕРА

Анна в последнее время сама себя не понимала. Она совершала поступки, в которых не было и тени логики: все происходило по чужой, жестокой и непостижимой воле. Ей хотелось к Борису, но она ехала к Петру. И если в случае с Борисом, как назло, всегда опаздывал троллейбус и не ловилось такси, когда она к нему ехала, или прежде времени возвращался хозяин квартиры, в которой они уединялись, — то с Петром все складывалось идеально. Машина подкатывала сама, и водитель брал недорого. В отличие от Бориса, Петр был разведен. Квартира у него была собственная, и Анну там всегда ждали. Единственная проблема состояла в том, что Анна не любила Петра. Ей было с ним неловко в постели и скучно вне. Она вообще не знала, откуда взялся в ее жизни этот Петр, — познакомились по чистой случайности, на улице, она дала телефон, хотя никогда не делала ничего подобного, а там покатило. Да и Борис что-то опять раздумал уходить от жены, так что первое время Анна действовала назло ему. А потом чужая воля закрутила ее так, что она не успевала оглянуться. Вот и теперь она ехала к Петру, даже не помня

толком, он ли по обыкновению пригласил ее на свою знаменитую воскресную пиццу, сама ли она напросилась в гости, — ехала потому, что какая-то необъяснимая сила ее туда несла.

Петр ждал ее — как всегда, строгий, подтянутый, безупречно одетый (отчего-то даже дома он встречал ее в костюме, при неизменном коричневом галстуке). Из кухни доносились вкусные запахи, паркет сиял чистотой, на столе в комнате сверкали бокалы. Больше всего на свете Анне хотелось, чтобы Петр на этот раз молчал, не заводил в сотый раз нудных бесед о своем бизнесе, о том, как он и подобные ему оздоравливают и поднимают Россию, — но Петр неумолимо осуществлял свою программу, в которой разговоры были обязательным пунктом. Потом они ели. Потом Петр ушел в ванную, чтобы принять неприменный душ и не мешать ей раздеваться. Боря обычно раздевал ее сам, и это нравилось Анне гораздо больше.

Не dokonчив омовения, препоясанный полотенцем, Петр вдруг вошел в комнату. Анна в задумчивости снимала колготки, когда он произнес:

— Мыло «Сейфгард». Тройная защита для всей семьи. Ты делаешь одно движение, мыло делает три. Не хочешь ли купить у меня партию мыла «Сейфгард»? Я являюсь его эксклюзивным дистрибьютором.

— Что с тобой, Петя? — ахнула Аня.

— Телефон пять-пять-пять, четыре-четыре, три-три, — как ни в чем не бывало, продолжал Петр. С него текло на паркет. — Ночью дешевле.

— Петя, я пользуюсь «Каме», — пролепетала Аня.

— Прости, — спокойно произнес Петр и исчез в ванне.

«Господи, что с ним? И что со мной? — думала Анна, так и застыв на кровати в полуодетом и, надо признать, довольно привлекательном виде. — И откуда у меня вдруг, в этой чужой комнате, такое ощущение перелома в судьбе? Словно вот здесь, сейчас, когда я сижу на кровати и жду совершенно чужого мне мужчину, кто-то наверху решает мою судьбу. Именно сейчас она переламинается, и если я не сделаю лишнего движения, не буду раздеваться дальше, не пошевелюсь, то все произойдет как надо. У меня и раньше бывало такое чувство паузы — будто ветер застыл, прежде чем перемениться, — но никогда так отчетливо...»

И точно, стоило Петру в бордовом махровом халате выйти из ванны и направиться к кровати, раздался звонок в дверь. Анна испуганно стала натягивать колготки, Петр решительно направился к двери и поинтересовался, кто там.

— Свои, — ответил знакомый голос, и Петр, хоть и пробурчав под нос «свои все дома», начал щелкать бесчисленными стальными замками. На пороге стоял Борис.

— Одевайся, Аня, — сказал он, не удостоив Петра приветствием. — Ты едешь ко мне. Я все решил.

— Боренька, ничего не было, — пролепетала Анна с несвойственной ей интонацией жалкого самооправдания, чувствуя, однако, что душа ее поет.

— Я знаю. Чтобы у тебя с этим что-нибудь было, — презрительно бросил Борис, не глядя на Петра, — должен мир перевернуться. Скорее дублинки на Ленинском подешевеют. Едем, такси ждет внизу.

Аня не успела даже удивиться, откуда у Бориса, вечно перехватывавшего у знакомых в долг, деньги на такси. Она стремительно оделась, чуть не прищемив колготки молнией на сапоге и больше всего заботясь о том, чтобы не взглянуть на Петра, не задеть его случайным жестом — такую брезгливость вызывал он у нее теперь. Борис тоже не попрощался. Они вышли под снег.

— Боренька, — спрашивала Анна, прижимаясь к нему в машине. — Откуда у тебя его адрес?

— Проследил однажды, — небрежно отвечал Борис.

Здесь была какая-то сюжетная нестыковка, но Анне лень было вдумываться. Ее укачивало в блаженном тепле.

— А с Ниной ты... все?

— Окончательно, — кивнул Борис и нахмурился.

Давно ненавидя жену, он был все-таки привязан к дочери. Но Анне не хотелось омрачать этой мыслью безмятежного счастья, которое переполняло ее. К тому же водитель включил радио, и раздалась песенка, которую она слышала так часто в последнее время — песенка с глупыми-преглупыми словами и разудалой мелодией: «Простые горести, простые радости, шепотка горечи, шепотка сладости»... Песню эту она слышала строго два раза в день, утром

и вечером, по какой-то странной закономерности: то в такси, то по телевизору, то из-за стены, от соседей. Анне и в голову не приходило, что это песенка для титров сериала «Простые радости», где у нее была роль.

К счастью для Бориса, случилось так, что старый, твердых правил драматург Каменькович успел написать только вступительный эпизод этой серии и слег. До всех дел Каменькович сделал себе имя и трехкомнатную квартиру в центре на пьесах из пионерской жизни — «Сердце вожатого», «Председатель совета отряда», «Сплетня», — которые триумфально, как советская власть, шествовали по ТЮЗам страны. К концу восьмидесятых вся эта розовая дребедень перестала ставиться, и Каменькович, три года помыкавший в бездействии, вышел на режиссера Кулюкина, задумавшего ставить российские многосерийные новеллы на бразильский лад. Сейчас они вместе писали уже шестой проект. Каменькович сам придумал Петра, очень похожего на его положительных пионеров, председателей совета отряда, которые теперь и точно почти сплошь были в бизнесе. Он рассчитывал отдать Анну Петру, но поскольку в одиночку сериалы не пишутся, на его пути встало препятствие в виде молодого и перспективного драматурга Быстрова. Быстров, регулярный участник семинаров в Молчановке и большой авангардист, любил Бориса и не собирался уступать Анну кому попало.

Борис не устраивал Каменьковича тем, что это был типичный представитель современной молодежи, избалованный, рефлексирующий



и неспособный к активным действиям. Он вечно не знал, чего хотел. Кроме того, Каменьковичу не нравилось, что у него есть жена Нина и еще Анна. У нормального человека должна быть жена, и все.

Но Каменькович заболел, и двадцатая серия досталась Быстрову. Он прочел вступительный эпизод и обалдел. Поначалу ему захотелось вообще похерить всю историю, начав серию заново, но потом он ощутил особый зуд злорадства. Старику и его любимчику с трехкомнатной квартирой в элитном доме следовало показать по полной программе. Борис ворвался очень вовремя. Опасность была в одном — следующую серию, по договору, опять должен был писать Каменькович. Он мог запросто помирить Бориса с гнусной Ниной, в свое время окрутившей его путем залета, и Аня со злости опять побежала бы к еще более мерзкому Петру. Сначала Быстров собирался оттянуться на хорошей, хотя и целомудренной любовной сцене, а потом все-таки сжечь между Борисом и его женой кое-какие мосты.

— Знаешь, как я мучился, — сказал Борис, утыкаясь ей в шею. Они не могли разлепиться уже третий час.

— Да, да, — глухо говорила она, — я тоже как не в себе, и все из рук валится. Как же ты все-таки решился? Я понимаю, что не имею права спрашивать, я сама хороша, как выяснилось, но все-таки...

— Господи, да ты-то чем виновата? — простонал он. — Я бы не удивился, если б ты со

злости вообще за границу сбежала с миллионером, как эта... ну, Сафонова-то еще играла ее... Прости, прости...

— Самое главное, знаешь, — говорила она, глядя его спину, ероша волосы на затылке, ты-чась мокрыми губами куда попало, — самое главное, что я совсем, совсем не понимала, зачем я все это делаю. Я не помнила себя. Ты думаешь, мне была нужна эта его квартира... его деньги... замужество... Господи, да если бы я хоть на секунду смогла представить, что он мой муж, я повесилась бы от безысходности. Если бы ты не пришел... ну что же, я дала бы ему, и еще, и еще раз, но потом все равно побежала бы к тебе... поползла на брюхе...

— Нет, я не мог не прийти. Я однажды ехал за тобой всю дорогу, таксиста гнал... Хорошо хоть, теперь деньги есть. От заказов не отобьешься: там перевод, сям перевод... Ты знаешь, мне что-то вдруг дико стало везти в последнее время. Я все думал, почему такая полосатая жизнь? То ни копейки, и ты еще ушла... поссорились... слушай, как мы могли вообще? — Он поцеловал ее в бровь. — То прямо как поперло, представляешь, и деньги, и все... Я иногда думаю: кто-то меня там не любит. Потом думаю: нет, все-таки любит. Любит, но испытывает.

Борису было совершенно невдомек, что говорить о каком-то одном авторе в его случае было смешно. Авторов было двое, иногда вклинивались режиссер и спонсор; один его действительно не любил, зато другой, дорвавшись до дела, немедленно осыпал благодарностями. Анну никто не любил и не ненавидел,

к ней все относились спокойно, скорее как к неизбежному злу, потому что в центре любого сериала должна быть красивая одинокая девочка со сложным характером. Это ровное и беспристрастное отношение к себе она чувствовала и поэтому в Бога не верила.

— А я в Бога не верю, — сказала она Борису. — Зачем мне Бог, когда есть ты?

— Глупости, — сказал Борис. — Ты что же, веришь, что все вот так и кончится? Что все это может кончиться здесь и сейчас?

— А как же иначе? — искренне спросила Анна. — Ты всерьез допускаешь, что может быть какая-то другая жизнь?

— Конечно, — сказал Борис уверенно. — Я, например, уверен, что живу уже не первую.

— Ну-ка, ну-ка! Ты помнишь древнюю Грецию? Знаешь, одна актриса — вся такая интеллектуалка — очень любит рассказывать, что в прошлой жизни она была древним греком. Гречкой. До нее это дошло, когда у нее там во время какого-то поэзоконцерта в Акрополе микрофон отключился. И она голосом охватила весь Акрополь. Ты представляешь, бред какой?

Это была невинная месть Быстрова сухощавой и самовлюбленной гранд-даме русского интеллектуального театра, отказавшейся взять в свою антрепризу его пьесу «Отравительница Федра».

— Нет, Греция ни при чем. Знаешь, — говорил Борис, увлекаясь более и более, — мне вообще иногда кажется, что я живу какую-то не свою жизнь. И жена мне досталась не моя,

и квартира не моя... Имени своего — и то терпеть не могу. Вот если бы меня звали Андрей... Нет, серьезно, — он приподнялся на локте, не переставая, однако, гладить лицо Анны, бледное в полутьме лицо с закрытыми глазами. Они лежали в комнате Борисова друга, художника, который часто их пускал к себе, когда уходил работать в мастерскую. — Я, когда с Нинкой жил, все время бился об стены. То есть мне тесно как-то было, все ушибался об углы, что она ни приготовит — мне невкусно... Ты не представляешь, какой это кошмар! И вид, вид за окнами — совершенно не такой, как мне надо! И работа, понимаешь, — я не могу сказать, что не люблю свою работу, но рожден-то я, мне кажется, был для чего-то совсем другого! Мне иногда казалось, что я в принципе должен бы заниматься музыкой, только музыкой, и ничем другим.

— Ты? — Анна усмехнулась и открыла глаза. — Борька, тебе же бурый медведь ухо оттоптал!

— Ну, не бурый, не бурый. Так... панда. Но вот, понимаешь, чувствую, что только этого мне и хочется: гастролировать... дирижировать... Я даже думаю иногда, что очень хорошо бы смотрелся за пультом, — он встряхнул волосами, и Анна счастливо рассмеялась. — Пожимал бы руку первой скрипке, — и он пожал, хотя совсем не руку и отнюдь не скрипке. — Потом бы палочкой, палочкой... — и в комнате потемнело: то ли зашло солнце, то ли здесь по закону жанра было предусмотрено затемнение.

Борис и не догадывался, почему собственная комната, жена и профессия казались ему чужими. Как большинство молодых авторов, Быстров охотно населял собственные сочинения друзьями и знакомыми. Бориса он практически без поправок списал со своего друга, молодого, но уже успешного композитора, получившего несколько престижных заказов в Германии и теперь жившего в Кёльне. Друга действительно звали Андрей. Сейчас Быстров как раз сочинял ему либретто для оперы о ядерном апокалипсисе. Опера была новаторская, рассчитанная только на ударные. Губайдулина находила быстровского друга большим оригиналом.

Этот-то молодой мэтр, привыкший к успехам и деньгам, был вставлен в интерьер двухкомнатной квартиры в недрах спального района около метро «Щелковская», снабжен нелюбимой женой, окружен тупыми и злобными соседями, награжден профессией переводчика с японского и вдобавок иногородним происхождением, так что своего жилья, куда можно было бы водить Анну, у него не было. Последнее было предусмотрено сюжетом — иначе он давно ушел бы от своей дуры, и все закончилось бы уже в третьей серии.

Счастливо откинувшись на стуле и закинув руки за голову, Быстров воображал себе то, что происходило сейчас между Борисом и Анной. Увы, по условиям договора он был лишен возможности прописать все это в сценарии и теперь оттягивался, заставляя Бориса и Анну хотя бы в своем воображении проделывать все

то, что проделывал накануне с потрясающей девочкой Настей, то ли снятой им, то ли снявшей его накануне в клубе «Убиться веником». От этого упоительного занятия его оторвал телефонный звонок.

— Игорь? — деловито осведомился режиссер Кулюкин. — Ты двадцатую закончил?

— Нет, мне еще пару эпизодов. — Быстров улыбнулся, представив, как сейчас на вечеринке, куда жена Бориса отправится заливать тоску, познакомит ее с потрясающим плейбоем с воровскими наклонностями и постепенно сделает историю этой пары второй главной линией, вследствие чего Петр окончательно сдвинется на периферию сюжета.

— Вот и слава богу, — Кулюкин облегченно вздохнул. — Ты знаешь, Чумаков требует, чтобы ему обязательно дали написать финал серии. Он же оговорил свое право иногда писать про этого своего... ну как же его, господи...

— Плевацкий, — с отвращением проговорил Быстров.

— Точно, Плевацкий. Седеющий бизнесмен, на которого все время вешаются молоденькие, с ногами. Отдай ему сценарий, пусть впишет сцену-другую. Ты же понимаешь, мы без него в полном дерьме. Он пришлет человека за дискетой через час.

Чумаков — главный спонсор сериала и тайный графоман — выговорил себе право непременно вписывать в каждую третью или четвертую серию эпизод с участием своего альтер эго, безукоризненного джентльмена с вечным кристалликом грусти в голубых глазах. Плевацкий

был из старой дворянской семьи. Теперь он возродил традиционный русский бизнес — выпускал напиток «Ясный перец» на основе перечной мяты. Кроме того, именно он через свои связи привлек в «Простые радости» львиную долю рекламы мыла, которая обильно уснащала текст. Без такой джинсы на РТР нечего было ловить.

За оставшийся у него час Быстров успел вписать в сценарий только краткий рассказ Бориса о том, как он швырнул Нинке в лицо свои ключи и попихал в дипломат свои словари, а из вещей унес только то, что на нем было. Быстров начал было сочинять сцену в ночном клубе, где Нинка с опухшей мордой высматривала хорошенького спутника на предмет залить горе (дочь она отвезла к матери), но тут раздался звонок в дверь, и юноша с манерами официанта и глазками убийцы принял у Быстрова дискету со сценарием. Через четверть часа спонсор Чумаков приступил к сладостному труду.

...Плехацкий был бы идеальным мужчиной, если бы не пара странных особенностей. Во-первых, все его контакты с женщинами всегда ограничивались совместным походом в ресторан, старомодным медленным танцем и сдержанными сетованиями на одиночество и непонимание, от которых он страдал с тех пор, как разбогател. «Понимаете, уровень моих партнеров по бизнесу не предполагает адекватного общения между нами. Душа просит совсем иного», — говорил дворянин. Девушки охотно кушали за его счет, доверчиво выслушивали

жалобы и смотрели огромными понимающими глазами (ему все попадались голубоглазые), но тем же вечером бесповоротно исчезали из его жизни. Плевацкий всякий раз хотел пригласить девушку к себе и ни секунды не сомневался в успехе, но что-то его останавливало. Все опять заканчивалось каким-то подростковым провожением очередной спутницы до ее дверей. При расставании девушки смотрели на него, как на идиота. Плевацкий понятия не имел, что причиной такой его неудачливости было патологическое целомудрие его создателя. Чумаков не мог допустить, чтобы его вымечтанный альтер эго тащил в постель каждую встречную. Он любил сцены красивых ухаживаний.

Второй же неприятной особенностью Плевацкого, мучительной прежде всего для него самого, было то, что он заговаривался. Ошибки в словах он делал самые необъяснимые, и как раз тогда, когда требовалось особое красноречие. Вот и сейчас, когда прелестная визави (естественно, с ярко-синими, круглыми, как бы фарфоровыми глазами) излагала ему свою печальную, загубленную непониманием и бедностью жизнь, Плевацкий произнес дрожащим голосом:

— Дитя мое, я готов разрыдаться!

Он тут же прикрыл рот. Девушка сделала вид, что ничего не заметила. Плевацкому было невдомек, что Чумаков пишет сравнительно недавно и потому делает самые идиотские опечатки. Однажды вместо «мне кажется, я вас люблю!» Плевацкий, к собственному ужасу,



вякнул «мне кажется, я вас объоб» — это Чумаков осваивал слепой метод и сдвинулся по клавиатуре на одну букву влево.

Девушка нравилась ему все больше и больше. Плехацкий был уверен, что на этот раз ему повезет. Правда, пригласить ее к себе он по-прежнему не решился, но уже узнал из разговора, что она живет одна. Они сидели в том самом ночном клубе, где Борисова Нинка искала себе плейбоя на ночь. Плехацкий познакомился с этой девушкой у стойки и теперь медленно, но верно вел дело к победному концу. Расплатившись, он повел ее к дверям и подозвал личного шофера.

— Ступай домой, к жене, голубчик, — произнес он отечески. — На сегодня я тебя отпускаю.

Прислуге не следовало знать, где ночует босс. Между тем босс практически не сомневался в том, что сегодня его пригласят остаться.

— Мы поедем с тобой на такси, дитя мое, — конфиденциально сказал Плехацкий, склонившись к бледному ушку спутницы.

Все это время Нина, Анна и Борис чувствовали необъяснимую, томительную скуку. Вечер казался им, хоть и проводившим его поврозь, одинаково долгим и бесплодным. Но это был вечер Плехацкого: до главных героев Чумакову никогда не бывало дела. Он брался за сценарий, только когда хотел подбросить любимому персонажу очередное похождение.

— Все было очень вкусно, — сказала девушка, кротко подняв глаза на Плехацкого. Она лгала. На хороший клуб и достойное угощение

Чумаков жалел денег. Кормили в сериале очень посредственно. Но ей не хотелось одной добираться домой, и приходилось миндальничать со старым козлом.

Старый козел лихо поймал такси и только тут вспомнил, что наличных денег у него в обрез — ровно в один конец до «Академической». Домой, на Бронную, пришлось бы идти пешком, так что остаться на ночь было не только делом чести, но и единственным выходом. Была, конечно, пластиковая карта, но где он найдет на «Академической», в половине первого ночи, работающий банкомат?

...Они шли по улице Дмитрия Ульянова в сторону Дома аспиранта и стажера МГУ. Чумаков однажды бывал в этом районе — заезжал за одной студенткой, которая потом оказалась прожженной стервой, — и теперь эксплуатировал воспоминание. Плехацкий философствовал.

— Дитя, ты так еще молода, — говорил он. — Мои седины... Когда я подумаю о годах, пролетающих между нами... Ты смеешься? Правильно! Смейся, резвись, порхуй...

Он понял, что сказал что-то не то, но было уже поздно. Девушка оглушительно расхохоталась, вырвалась и убежала в арку. Смех ее долго еще отдавался во внутреннем дворе, пока в дальнем подъезде не хлопнула дверь. Плехацкий остался стоять на улице ленинского младшего братца в полной растерянности.

Пошел тихий снег, было безлюдно, и Плехацкий ощутил вдруг такую тоску, такую мучительную заброшенность, какую испытывал

только в детстве, когда ему долго не спалось и казалось, что весь мир спит, а он нет. Он представил себе, как будет один возвращаться домой, выругал себя за то, что отпустил шофера, и с отвращением пнул ледышку, с глухим стуком врезающуюся в бордюр. Плехацкому казалось, что Бог оставил его.

Это произошло потому, что Чумаков, вечно перенапрягавшийся на своей фирме и притом далеко уже не юноша годами, заснул над клавиатурой, и теперь герою предстояло выпутываться из положения самому. Как всякий нежизнеспособный персонаж, созданный дилетантом, Плехацкий такого навыка не имел. Самостоятельно вылезать из сложных положений могут только полнокровные, выпуклые герои, сочиненные талантливыми писателями и способные обходиться без их диктовки. Плехацкий же все стоял на улице и с отчаянием озирает заснеженный пейзаж московской окраины, где он сроду не бывал. Так закончилась двадцатая серия — двадцатое февраля двухтысячного года.

На другой день Каменькович выздоровел, и в двадцать первой серии Борис, пресытившись Анной, покаянно вернулся к жене. Несмотря на все его предосторожности, Анна через неделю почувствовала себя беременной, потому что непременным условием продолжения сериала спонсор поставил упоминание памперсов «Либоро». Петр выразил готовность усыновить ребенка. Быстров разорил Петра и подсунул Нине любовника-иностранца.

В двадцать пятой серии Анна и Борис снова лежали в мастерской друга-художника, плакали и спрашивали друг у друга, когда это кончится. И на всем пространстве многогеройной эпопеи «Простые радости» не было персонажа, способного милосердно и безжалостно объяснить им, что это не кончится никогда, никогда, никогда.

# КИЛЛЕР

## Триллер

На вечеринке лучших друзей, как в песне поется, двадцатитрехлетний студент четвертого курса Института стран Азии и Африки Коля Артемов заметил офигенную девушку своих примерно лет, без спутника, зато с удивительным совершенно лицом, при одном взгляде на которое становилось веселее. Она так и вплыла в комнату, улыбаясь, как солнышко, сознавая всю свою прелесть и сияя золотом волос — явно своих, без всякой краски. Росту в ней было почти столько же, сколько в Артемове, а в нем его было дай бог.

К моменту вечеринки лучших друзей Артемов успел один раз завалиться на вступительных экзаменах в ИСАА (он знал о Китае все, что можно узнать самоучкой, но происходил из простой семьи с минимальными средствами и не мог себе позволить репетитора из желанного вуза), потом служил в армии, где оказался отличным стрелком и регулярно показывал лучшие в полку результаты, и наконец поступил, куда хотел: после армии, да еще с потрясающей характеристикой, барьер оказался не столь непреодолим. Он недурно учился, успел два раза съездить в Китай, кое-что зарабаты-

вал, консультируя несколько совместных предприятий (переводчики с китайского в Москве немногочисленны и потому ценимы), женат не был и не так давно расстался с девушкой-хиппушкой, все время учившей его жить. Хиппушка любила изрекать фразы типа: «Как говорит мой учитель, пророк новой эры Витя Пупышев»... Витя Пупышев целыми днями просиживал на Арбате и говорил ужасные глупости, явно почерпнутые из Интернета. Хиппушка его обожала и пыталась склонить Артемова к такому же образу жизни. За полгода это его достало.

— Вань, — обратился он к виновнику торжества, чей день рождения как раз отмечался. — Это кто?

— Это? — Ваня глумливо подмигнул. — Это не для нас сварено. Катя Остапчук, слышал такую фамилию?

— Не слышал, — честно признался Артемов.

— Я тоже не слышал, — вздохнул Ваня. — Но говорят, что она дочь ужасно крутых родителей. И сама — видишь какая? К телу никого не допускает. Тут такие люди зубы себе обламывали, что куда тебе. Поклонников — до Чукотки раком не переставишь, — Ваня очень любил это выражение и произнес его со вкусом. — Даже и не пытайся.

Артемов любил трудноразрешимые задачи, а неразрешимых пока не встречал. Невзирая на недавний облом с хиппушкой, он не жаловался на дефицит женского внимания, сложение имел гибкое, лицо смуглое, с несколько китайчатым разрезом глаз, усы

брил, волосы стриг коротко, умел изъясняться с восточной витиеватостью и чрезвычайно много читал. Больших денег на красивые развлечения у него не водилось, но уболтать он мог кого угодно.

— И кто за нею волочился? — процитировал он.

— За нею волочился Смирнов, — Ваня назвал в качестве убойного аргумента фамилию редкого хлыща с их курса, который благодаря рыбному бизнесу отца швырялся деньгами и ездил на джипе.

— Смирнову и я бы не дал, — честно сказал Артемов. — Он кретин полный.

— И еще за ней один бегал, лет сорока, — продолжал Ваня, — коммерческий директор чего-то там. Подарил манто бог знает из чего. Мексиканский тушкан отдыхает. Манто взяла, но и только.

— Молодец девушка, — сказал Артемов. Катя Остапчук нравилась ему все больше.

— И наконец, — этот факт Ваня приберег для пущего эффекта, — за нею волочился Бобров! Но и здесь — увы, увы и увы.

Бобров, генератор телевизионных идей, стоявший у истоков народной программы «Доброе утречко» и создатель телеканала «Сквозняк», вел на НТВ программу «Осчастливчик». По слухам, перед ним не мог устоять никто. Артемов лично знал штук шесть девушек, уверявших, что Бобров регулярно бывает с ними близок. Если все они не лгали, бледность его в последних выпусках «Осчастливчика» была более чем объяснима.

— Это набор стандартный, — припечатал Артемов. — Сынок, нувориш, плейбой... Слышь, Вань, ты ведь с ней хорошо знаком, да?

— Познакомить? — хихикнул Ваня.

— Нет, голубчик. Банальщина. Намекни ей, пожалуйста, что я киллер.

Ваня свистнул.

— В какой форме? Я боюсь, это будет не очень естественно...

— Господи, ну мне, что ли, учить тебя!

— Нет, ну как ты себе это представляешь? Мы сидим за столом, я ей накладываю салату и тут говорю: между прочим, вот этот смуглый брюнет справа — киллер. Она сразу: ой, как интересно! Можно он кого-нибудь убьет? У нас же тут все люди со способностями. Гамалов стихи читает. Лукьянова знает восемь языков. Ашумова вяжет крючком из рыболовной лески. А Коля Артемов сейчас по просьбам публики произведет контрольный выстрел в затылок.

— Ванечка! — проникновенно сказал Артемов. — Честное слово, это женщина моей мечты.

Ванечка был уже довольно хорош и потому, отважно махнув рукой, пересел поближе к Кате Остапчук, оживленно беседовавшей с кем-то из гостей. Он в своей легкой манере включился в разговор, что-то быстро сострил, а потом повел Катю курить на балкон и там долго о чем-то рассказывал. Пару раз Катя обернулась, мило щурясь, и на лице ее была написана явная заинтересованность. После перекура она вместе с Ваней подошла к Артемову и с детской естественностью спросила:



— Коля — вас ведь Коля зовут, да? — ваш друг намекнул, что вы человек очень интересной профессии.

Артемов смерил Ваню столь убедительным ненавистническим взглядом, что тот невольно поежился.

— И кое-кто имеет шанс очень быстро в этом убедиться, — сказал он вежливо.

— Ну, вы тут поболтайте, — быстро сказал Ваня, — а я пойду распоряжусь насчет горячего, — и его сдуло в кухню.

— Знаете, — сказала Катя, словно они век были знакомы, — мне даже не то интересно, что у вас профессия такая экзотическая, а то, что вы признались. Ванька ведь знает откуда-то? Я не думаю, что он пользовался вашими услугами.

— Если бы он пользовался моими услугами, — флегматично сказал Артемов, — нас познакомил бы кто-нибудь другой.

Катя засмеялась.

— А почему же вы не скрываете, что... — фраза повисла.

— Лист лучше прятать в лесу, — пожал плечами Артемов. — Все равно никто не верит.

— А если я поверю? — поинтересовалась она.

— Вы-то явно не поверите, — закинул он первую удочку. — При вашем характере интересоваться моей средой — не знаю... естественно как-то...

— А что вы знаете о моем характере?

— Знаю, что вы человек очень живой. А я... редко имею дело с живыми. И недолго.

Дальнейший разговор от него больших усилий не потребовал: рассказывать другим об их характерах он умел, умел и говорить то, что хотели услышать. Это была целая наука — выдавать главным образом гадости, но при этом гадости, льстящие самолюбию собеседника; заранее угадывать и опровергать контраргументы, словно угаданная мысль этим заранее обезврежена; мельком выпрашивать нужное, чтобы потом это нужное, выболтанное машинально, преподнести как собственное открытие. Существовала и масса других приемов, но по большей части в таких случаях Артемов импровизировал. Его несла неведомая сила. К полуночи он рассказал Кате об ее характере массу взаимоисключающих вещей. Надо отдать ей должное — она умела слушать: ни секунды ни кокетничала, не позволяла себе ни искусственного смеха, ни ложной многозначительности, ни картинной печали. Она легко усвоила его стиль — произнесение вслух вещей рискованных, постыдных, скрывааемых. Только однажды тень задумчивости легла на ее сияющее круглое лицо.

— А занятно, — сказала она.

— Что именно?

— Как мы с вами теперь из этого будем выкручиваться.

— В смысле?

— Нет, ничего... продолжайте.

Но ясно было, что выкручиваться предстояло из взаимной влюбленности, — так объяснил себе дело Артемов, и в груди у него стало жарко. Около половины первого Катя засобира-

лась. Ваня смотрел на Артемова со смесью восхищения, зависти и лицемерного осуждения. Артемов вызвался добросить Катю до дома на своей «Таврии». «Таврия» была на самом деле отцовская, но иногда он ее брал.

— Вы же пили...

— Это не называется «пить».

— Но если дотошный мент?

— А если дотошный мент, — сказал Артемов, — то есть вот это.

Он извлек из кармана две недели назад купленное на Арбате «Удостоверение сволочи» и показал Кате свое фото, аккуратно вклеенное туда. На малом предприятии, где он переводил, знакомая секретарша шлепнула печать, девятизначный номер он придумал сам.

— «ЗАО “Желтая река”», — прочла Катя буквы по ободку печати. — Это ваш кооператив?

— Это наши люди, которые работают с ГИБДД, — снисходительно пояснил Артемов. Шла чистая импровизация, но он был ею доволен: именно так, весело и неожиданно, и должны выглядеть серьезные вещи. — Можно показать, и ни один гаишник не оштрафует. Скажите, а вы всегда задаете так много вопросов?

— Это моя профессия — я ведь журналист...

— Знаете, у меня тоже есть профессия. Давайте хотя бы друг для друга не будем только профессионалами, — предложил Артемов. — А то мои ответы на ваши вопросы могут оказаться... не совсем симметричными.

— А почему «Таврия»?

— А вы хотите, чтобы я ездил на «мерсе»? Поразительно, до чего все начитались покетбуков...

— Ну не обижайтесь! — серьезно попросила она. — О журналистах — в особенности журналистках — тоже у всех превратное представление. Вот Бобров — знаете Боброва? — он как узнал, что я журналистка, сразу решил, что я лезу к нему в постель для эксклюзивного интервью. Очень мне нужен этот ростовский парвеню! Да и о вашей профессии мне писать, честно говоря, неинтересно. Я бы охотнее с вами поговорила еще раз, как сегодня. О себе, о вас... Просто так.

Артемов поразился легкому успеху и даже несколько разочаровался в девушке, которая так быстро бежала на запах крови. Но, с другой стороны, он отлично понимал, что глагол «поговорить» следует понимать строго буквально — по крайней мере на первых порах: у нее явно кто-то был, кто-то давний и постоянный, — такие вещи он просекал, перед ним была спокойная и счастливая девочка с уверенностью в завтрашнем дне. Предстояла борьба, но тем интереснее все выглядело.

Он прикинул свои шансы: кабаки отпадают, но серьезные киллеры и не ходят по кабакам. Они читают классику, часто и помногу думают о жизни и смерти. Они немного философы, эти настоящие киллеры. В каждой профессии есть своя элита: те, кого уже не интересуют деньги и успех. Их интересуют вершины мастерства. «Мне по душе строптивый норв артиста в силе, он отвык». Они едят только диет-

тическое, совершают упорные медитации на специальном коврикe, истязают тело долгими тренировками. Женщины их не интересуют. Они нужны им, чтобы поговорить — если, конечно, это женщины, с которыми стоит говорить.

Так Артемов за считанные минуты придумал класс продвинутых киллеров — интеллектуальных чистильщиков, которые, уничтожая одного жирного грабителя по униженной просьбе другого, испытывают мстительную радость: вот и еще один паразит лопнул, упившись нашей кровью. А там и до заказчика дойдет — мало ли у него противников. После удачного дела он бросает снайперскую винтовку на чердаке и спешит домой — к своей манной каше, экологически чистому салату и ледяному молоку.

Удивлять надо было сразу. Следующее свидание Артемов назначил не в кабаке и не у себя, а в Сокольниках. Была осень, сухие коричневые листья шуршали под ногами. Садовники в желтых стеганых жилетках поверх ватников жгли костры. Он рассказывал Кате Остапчук о милых и необязательных вещах — о своей собаке, об армейской службе. Как-то случайно вырулили на Китай. Он стал рассказывать о китайском стихосложении, щедро привирая.

— Вот, например, — говорил он с трогательной серьезностью. — Простой русский глагол «любить».

Катя слегка зарделась — или ему это показалось?

— Он китайского происхождения, — с каменным лицом продолжал Артемов. — Был известный китайский поэт Лю Цзин, в просторечии просто Лю. Когда мужа соблазненных им женщин собирались его колотить, они кричали друг другу: «Эй, пойдем Лю бить!» Этот глагол перешел в Индию, а оттуда его привез на Русь Афанасий Никитин. До него у нас тут говорили просто «трахать». «Я тебя трахну, Любава!» — и Катя расхохоталась. Похоже, ее устраивало это обещание.

Разумеется, Артемов выбрал Сокольники не просто так. Он любил стрелять в местном тире, едва ли не лучшем из открытых тиров Москвы. Катя палила в белый свет, как в копеечку, и хохотала не умолкая. После этого Артемов спокойно взял десять пулек и все их торжественно всадил в движущиеся мишени.

— О, это серьезно, — уважительно сказала Катя, попросила старичка-тировладельца повесить для нее мишень и пятью пулями выбила тридцать восемь.

— Ничего, — снисходительно сказал Артемов, попросил не снимать листок и всадил следующие пять пуль в дырки от ее попаданий. Ему почудилось в этом что-то фрейдистское. Катя посмотрела на него долгим взглядом и ничего не сказала.

В тот вечер они перешли на ты. В дебрях парка Артемов извлек пневматический пистолет — любимую игрушку, отцовский подарок к дембелю, — и, доставая из кармана пульки, стал постреливать по ее заказу в старые плакаты, вышибая буквы. На ее месте, оставшись

среди пустого осеннего парка с киллером наедине, Артемов испугался бы, но Катя вела себя с такой уверенностью и свободой, что он влюбился окончательно.

— Честно говоря, — сказала Катя, — на твоём месте я проводила бы с жертвой предварительную беседу. Ты действуешь успокаивающе. У меня сейчас проблемы, а я про них не вспоминаю вот уже три часа.

— Если проблемы серьезные, я помогу, — пожал он плечами.

— За сколько?

— Из любви к искусству.

— Скажи... а как на тебя выходят серьезные заказчики?

— Если я тебе расскажу всю цепочку, ты все равно ничего не поймешь. Слава богу, тебе эти имена ничего не скажут.

— А все-таки?

— Вчера я виделся с Ханом, — скучно перечислил Артемов, с ходу импровизируя убедительные клички. — Хан сказал, что Серого перестал устраивать Тяпа. Я связался с Серым. Серый через Толстого Брата передал мне аванс. Я поехал к Барыбе, но Тяпа почуял и предупредил измайловских, а сам не приехал. Он не знал, что Серый скорешился с измайловскими. Тяпа успокоился и пошел выгуливать Усатого, — это терьера его так зовут, Усатый... то есть звали... Ну и все.

— Что — все?

— Больше не выгуливает. Слушай, неужели тебе это интереснее, чем про Китай?!

— А ты не знал Солоника? — задумчиво спросила она.

— Я знал Солоника, — лаконично ответил Артемов, лихорадочно придумывая, каков был Солоник в личном общении.

— Он действительно мертв?

— Как пень, — убежденно ответил Артемов. — И поделом.

— Почему? Он дорого брал?

— Он обидел Котика, — сымпровизировал Артемов. — Он очень сильно обидел Котика. Все вышло из-за этого. Я не последний человек в Москве, но и я не стал бы обижать Котика.

Катя усмехнулась.

— Про Котика я слышана...

«Интересно, откуда, — подумал Артемов, усмехаясь в ответ. — Я выдумал этого Котика две минуты назад».

За время последующих прогулок — всегда долгих, иногда сопровождавшихся чаепитием в скромной артемовской квартире (родители деликатно исчезали в гости), — Артемов успел рассказать Кате Остапчук несколько кратких, но сочных историй в духе экономических расследований Юлии Латыниной — столь же непонятных и кишущих кликухами. Катю интересовало все: например, ей было очень интересно, как Доренко не боится так ругать Лужкова.

— Смотри, — с нажимом, как непонятливой школьнице, разъяснял Артемов. — Береза проплачивает норильский газ. Так?

— Так, — кивала Катя, хотя о норильском газе слышала впервые.

— А Лебедь в свою очередь проплачивает, чтобы не трогали каспийскую нефть.



— Господи, ему-то что до каспийской нефти?! — округляла глаза Катя.

— Ему — ничего, но он держит все канские глиноземы, а канские глиноземы нужны Сухому, который держит Каспий, — снисходительно пояснял Артемов. — А дальше все просто: Лужок проплачивает Кострому и Вологду, Позгалеv в Вологде обеспечивает прикрытие Потанину, Потанин сбрасывает Абрамовичу, а Абрамович заинтересован в том, чтобы на Каспии не было людей Черномырдина. Понятно?

— Теперь понятно, — кивала Катя.

Ее понятливость была феноменальна. Артемов ни за что бы не разобрался в лабиринтах собственного вранья, но хорошо знал, что для убедительности — и это главная особенность нового русского языка, — надо употреблять так называемые глаголы сильного управления без зависимых слов: сбросить, проплатить, сказать... Все проплачивали и сбрасывали неизвестно что, суетились вокруг пустоты, и именно в этом заключалась великая суть виртуального русского бизнеса, до которой и Пелевин не доехал. Кстати, книга с автографом Пелевина (они были немного знакомы, обменивались специальной литературой по Китаю, как обмениваются ею все продвинутые московские китаисты) расположила Катю к Артемову настолько, что последовал поцелуй.

— Слушай, — сказала она ему через неделю, когда роман стремительно летел к главному своему этапу. — Ты обещал однажды, что мог бы меня выручить.

— Смотря чем.

— Понимаешь, я-то сейчас в порядке, но вот на мою подругу серьезно наехали. Она уступила свою машину одному парню — прокатиться. Он прокатился и въехал в чужое новое «вольво». И смылся. Они засекли номер, по номеру вышли на Олю, но она ни в чем не виновата. Понимаешь? Надо сделать так, чтобы они отстали — у нее сейчас нет свободных денег..

Отступить Артемову было некуда. Он вспомнил все, чему его когда-то учили в секции карате, сунул в карман пневматический пистолет и пошел на стрелку вместо Оли. Стрелка была назначена на Профсоюзной, напротив ресторана «Ханой», под большим солнцеобразным памятником Хо Ши Мину. С отвращением чувствуя дрожь в коленях, Артемов вылез из «Таврии», направился к памятнику, по возможности небрежно покручивая на пальце ключи, и прямо под носом доброго вьетнамца обнаружил того, с кем ему предстояло встречаться. Ожидавший тоже был явно напряжен и тоже крутил на пальце ключи. Взглянув друг на друга, оба с облегчением расхохотались. Перед Артемовым стоял его однокурсник Петя Морошкин — простой, широкоплечий и веселый малый, вечно без копейки денег.

— Ты чего, Петь? — спрашивал Артемов, ударяя его по плечу, когда они взяли по пиву в ближайшей забегаловке.

— Да эта... дура моя... взяла отцовский «вольвешник», захотела поездить, — ну, и на светофоре ее этот шибанул. На «девятке». Она сама же была виновата — надо было уступить,

а она поперла. Запомнила номер, через ГИБДД выяснила и мне говорит — стребуй, мол, с него бабки. А машина оказалась не его, а хозяйка какая-то ужасно крутая: я, говорит, пришлю к вам своего представителя... Ну, думаю, попал! Я ведь ей не говорю, что я студент. Кто сейчас будет со студентом... Морда у меня, сам видишь, широкая, — я ей дал понять намеками, что с солнцевскими дружу, она варезку и разинула. Не, Коль, она полная дура, но у нее, Коль, такая грудь, что я могу ее пять раз за ночь и еще хочу. Она орет, как десять кошек. Слушай, как хорошо, что это ты-то, Коляныч! Я уже с жизнью прощался!

— Я тоже. Петь, а тебе не кажется странным, что они охотнее всего связываются теперь с бандитами?

— Ну а с кем им связываться, Коляныч? Других профессий не осталось — кино посмотри, книжку почитай... Все либо журналисты, либо киллеры, что, в общем, одно и то же. А что ей работягу любить? Где они, работяги? И потом, они же бабы, Коль. Они надежность любят. Ну какое у нас с тобой будущее? Ты по горло в своем Китае, я — в своей Саудовской Аравии. В лучшем случае третий секретарь посольства, в худшем — преподаватель полуживых языков. А так — все-таки с будущим... прикидываешь?

— Но ты с этой Оли слезь, Петь. Твоя же сама была виновата.

— Да конечно, Коль! Я ей так и скажу, что мы это дело замяли на обоюдке. На обоюдной вине то есть. Каждая чинит свою.

Друзья с облегчением выпили еще по полной кружке и разошлись, еще более укрепив подспудную взаимную симпатию. Теперь на семинарах они здоровались с особенно теплым чувством и крепким рукопожатием. Оля была вне себя от счастья, что с нее слезли, а Петя убедил свою дуру — потратив на это, верно, не одну ночь, — что она должна Бога благодарить, потому что за Олей стояли очень, о-о-очень крутые люди, которые держат всю Москву и аэропорт «Домодедово» в придачу. Иногда Артемову начинало казаться, что все крутые, которые что-либо здесь держат, точно такие же притворяшки, как они с Петей. Во всяком случае, их действия, в которых нельзя было уловить никакой логики, наводили именно на такую мысль.

Приближался Хэллоуин — ведьминский праздник конца октября. Артемов, после истории с Олей награжденный очень профессиональным, но вместе с тем непосредственным и искренним поцелуем, имел основания рассчитывать на более серьезное вознаграждение. Он уже был представлен Катиному отцу, оказавшемуся действительно огромной шишкой, но где и в чем — он так и не понял: впечатляла квартира. Сановитый папа небрежно сунул Артемову пухлую кисть и отдался раздумьям о государственных, видимо, делах. Фамилии «Остапчук» среди виднейших правительственных чиновников Артемов не помнил, но пресса приучила его, что самые главные люди и есть самые законспирированные. Катя тоже сделалась частой гостьей в крошечной комнате

Артемова, где он угощал ее китайской едой по древним рецептам, заваривал жасминовый чай («как любил Мао», — пояснял он небрежно), показывал простые упражнения из древней монастырской гимнастики, учил медитации и гадал ей по Книге перемен. Он знал разное гадание — по руке, по ступне и даже по губам и этому последнему виду предавался с особенным жаром. Катя несколько раз прилегла на его узкую кушетку и многозначительно посетовала на ее малый размер.

На Хэллоуин она попросила Артемова планов не строить:

— Мы идем в гости. К моей подруге.

— К Оле?

— Нет. Оля — журналистка, а знакомить тебя с журналистками я не хочу. Ты мой эксклюзив.

Артемов хотел было отказаться, чтобы усилить в Кате любопытство и влечение: сказать, например, что именно этим вечером он занят. А после этого вечера еще два дня не допускать ее до себя, якобы смывая кровь с рук — естественно, путем медитаций и усиленной гимнастики, возвращающей духу равновесие и чистоту. Один раз он уже воспользовался этим приемом, и Катя добросовестно ждала его трое суток, не звоня и не напоминая о себе. Потом, правда, все равно не выдержала и позвонила первой — это был хороший знак.

В ночь Хэллоуина Артемов нарядился во все черное, пустив на наряд все привезенные из Китая экзотические тряпки. Он ожидал шумного застолья, во время которого они с Катей

найдут время уединиться, но не видел греха и в том, чтобы подождать: в конце концов, первый раз с киллером должен быть первым разом. Романтическим и несуетливым. Во время одной из сокольнических прогулок он уже прочел Кате целую лекцию о том, что человек, часто видевший смерть, совсем иначе относится к женской плоти и стремится к ней, словно к бессмертию. При этом он обильно цитировал Мисиму — японскую прозу ему тоже приходилось почитать, и он в ней ориентировался прилично. Катя трепетала.

Против артемовских ожиданий, Катя отперла дверь своим ключом. В квартире было темно, и только неоновая реклама «Внуковских авиалиний» мигала на соседней крыше.

— Не надо зажигать свет, — сказала Катя с интонациями Мюллера.

— А где подруга?

— Эта квартира наша, — многозначительно ответила Катя, уже в прихожей выгибаясь под его руками и присасываясь к артемовскому рту в еще небывалом, не оставляющем сомнений поцелуе. Язык ее творил чудеса. — Эта квартира наша на всю ночь, и ночь наша, и никакой подруги здесь не будет до полудня... я обо всем договорилась... иди в комнату, я сейчас.

Артемов шагнул в единственную комнату: скромно, почти голо... стол, кровать... видимо, квартира часто служила подобным целям...

— Разбери постель! — крикнула Катя уже из ванной.

...Сказать, чтобы Артемов был вовсе неискушен в делах любовных, значило бы сильно по-

грешить против истины. Но в его жизни еще не было женщины, которая бы до такой степени все понимала. Он чувствовал ту божественную свободу, когда понимаешь, что можно все, — и наслаждался этой свободой медленно, со вкусом, никуда не спеша и ни о чем не беспокоясь. Сходство характеров оборачивалось сходством темпераментов, все происходило одновременно, не было ни лишнего движения, ни лишнего слова, ни малейшей преграды, — и, продлевая и продлевая первый раз (китайцы в этом смысле продвинулись далеко), Артемов успел мимоходом — поскольку никогда не забывался до полного бездумья — пожалеть Боброва, который лишился, может быть, главного удовольствия в жизни, и безвестного нового русского с его дорогостоящим манто он тоже пожалел и тут же с победительной гордостью подумал, что ведь это он, простой и бедный русский студент, сделал то, что не удалось ни хлыщу с папиной рыбой и джипом, ни нуворишу, ни шоумену, — и гордость его была такова, что он собрал все силы и терзал Катю еще минут двадцать. Впрочем, это медленное и согласное движение с перерывами, с долгими поцелуями и милыми шуточками вроде внезапной щекотки если для кого и было терзанием, то разве что для духов, выползающих к людям в ночь Хэллоуина и завистливо наблюдающих за теми утонченными удовольствиями, которых бестелесные сущности лишены.

— Знаешь, — сказал Артемов. — Я иногда думаю, что бояться смерти — то же самое, что бояться кончить. Тянешь, тянешь... и не без

удовольствия... но смысл-то все равно только в этом.

Катя засмеялась в темноте.

— Это у вас, мужиков. У нас все иначе. Кстати, а женщин тебе... не приходилось?

Артемову было так хорошо, что он тоже засмеялся в ответ.

— Катька! — сказал он с нежностью. — Катька, солнце мое! Я думал, ты давно все поняла. Я тебе собирался еще неделю назад сказать, но решил все-таки сегодня.

Руки, обнимавшие Артемова, враз похолодели.

— Ты... догадался? Ты знаешь? — спросила она в ужасе.

— Да о чем? — беззаботно отозвался Артемов. — Это ты должна была догадаться. Я никакой не киллер, Катька. Но, к сожалению, мне про тебя такого narасказали... что ты с огромными понтами и все такое... Теперь-то я понимаю, что у нас и так бы все было отлично. Я студент, Катя. Простой студент МГУ, факультет ИСАА, группа 412, скромный китаист.

— А этот... авторитет, с Олиной машиной... — Голос у Кати странно одеревенел. — Это тоже трюк? Я же все проверила...

— Катенька, солнце, раньше студенты соблазняли барышень, играя с ними в революцию и в конспирацию. Теперь им приходится косить под крутых. Он такой же студент, как и я. Но согласись, это было весело. И я почему-то убежден, что это тебе не помешает повторить все только что проделанное еще раз... и еще много, много раз...



Артемов не врал, ибо снова ощущал готовность к действиям, но Катя странно замерла, словно не могла осмыслить его слова, а потом порывисто вскочила и кинулась к своей одежде, оставленной в ванной. Там, в заднем кармане джинсов, у нее был мобильный телефон.

— Идиот! — крикнула она сквозь зубы, и потрясенный Артемов не мог не отметить, что голая, на бегу, озаряемая сзади рекламой, она была все-таки необыкновенно хороша.

— Отбой! — кричала она в коридоре. — Все отменяется! Пятый, пятый! Передай им — отбой! Он все врал! Я сама объясню Алпатову, я все объясню... черт... — и в голосе ее послышались злые рыдания. — Нет, нет! Мы его не берем! Я с ним сама, сама... Да нет же, господи! Он совершенно не тот! Он все врал! Ладно, потом, — и мобильник звучно шлепнулся о стену. Похоже, Катя действительно была зла.

Она вернулась в комнату, но не полезла к нему под одеяло, а прижалась к стене напротив. На ней уже был махровый халат — видимо, хозяйский. Даже в скудном освещении мигающей красно-зеленой рекламы и уличных фонарей видно было, как горят ее глаза и какой ненавистью перекосило лицо.

— Сволочь, — сказала она сквозь зубы. — Сволочь... из-за тебя у меня теперь все...

Но вникнуть в смысл ее слов Артемов толком не успел, потому что внизу завывала милицейская сирена, заурчала, разворачиваясь, машина, и, прыгнув к окну, он с убийственной ясностью дурного сна увидел, как два милицейских «форда» стремительно выезжают

со двора. А по соседней крыше в мигании рекламы топотал к слуховому оконцу человек, только что державший на прицеле их окно. Позиция, отметил Артемов, была выбрана классно.

— Идиот, — всхлипывала Катя, — сколько людей из-за тебя ночь не спали... Какая операция... Я на самом высоком уровне, самому большому начальству докладывала... Все, теперь сорвалась моя стажировка в Штатах... Меня теперь вообще турнут... Господи, попала, как первокурсница!

— Так ты... — Артемов все еще не мог прийти в себя и даже не натягивал трусов. — Ты... из РУОПа, что ли?

— Я с Петровки! — с отчаянием в голосе выкрикнула Катя. — А ты идиот и сволочь... голову мне морочил со своей любовью...

— Но Катя, — начал обороняться Артемов, — почему же морочил?

— А про Котика?

— Да я же выдумал этого Котика! — завопил он в тоске, не зная, что сделать, чтобы она ему поверила.

— Да? — с почти девчоночьим ехидством ответила Катя. — А если я сама на него ориентировку читала? Котэ Магарошвили, вор в законе по кличке «Котик», предположительно смотрящий по Свиблову?

— О господи, — Артемов расхохотался, но тут же посерьезнел. — Ну, прости... Но что тут такого неблагородного? Ты не находишь, что с твоей стороны было гораздо хуже... вываживать меня, как рыбу, и потом сдать? Ты по-

нимаешь, что я бы оказался в камере и потом полгода, при ваших-то темпах, доказывал бы, что я не я и лошадь не моя? А что с родителями было бы? А диплом бы я где защищал? На нарах? — Он постепенно разъярялся. — Ты что, не могла по своим каналам проверить, действительно ли я студент?

— Проверила! — с ненавистью орала Катя. — Я все проверила! Ты, может быть, думаешь, что у них у всех так в трудовой книжке и записано — киллер? Они тоже где-то работают... один учился... А из твоей части прислали характеристику, что ты отличный стрелок, и из школы — что ты обладал... большой целеустремленностью... — Она разрыдалась. — И графолог наш... помнишь, ты мне телефон записал своей рукой? Графолог наш сказал, что такой убьет — не поморщится...

В эту секунду Артемов сознавал всю правоту графолога. Все-таки у них там неплохие специалисты.

— Скажи, — спросил он, уже одевшись и собираясь уходить. — Ты меня... никогда... ни секундочки не любила? Все-таки я старался...

— Тебя? — В голосе ее было такое непередаваемое презрение, что Артемов ощутил себя вошью и только тут легко поверил, что она действительно из органов. Больше так разговаривать нигде не умели. — Тебя-а-а? Вот, смотри! — Она достала из кармана брюк бумажник, тот самый, который Артемов видел в ее руках столько раз, и извлекла из потайного кармашка фотографию: ее, только чуть помоложе, совсем девочку, обнимал за плечи громадного рос-

та подполковник с широким добрым лицом. Тупость и надежность не просто заявляли, но криком кричали о себе каждой черточкой этого мужественного лица. В учебке у Артемова был такой прапорщик.

— Да, — сказал Артемов и, не сдержавшись, усмехнулся. — Мы с Бобровым, конечно, отдыхаем. А квартира эта, надо понимать, конспиративная? И многих ты тут уже... накрыла этим способом? (Он хотел добавить — «этим местом», но решил оставаться в рамках, как и учит нас терпеливый Восток.)

— Ты первый, — бросила она с ненавистью. — Мой диплом.

— Не грусти, Катя, — сказал он, открывая дверь. — Облом в начале — хорошая примета. Еще Лю Цзин писал: «Зашла луна — и солнцу путь открыт. Чу, иволга поет! Пойду гулять».

Он даже не хлопнул дверью.

Никогда в жизни Артемов не чувствовал себя таким безнадежно раздавленным. Самое лучшее было — не думать, китайцы и здесь придумали несколько недурных способов саморегуляции, и Артемов попросту фиксировал глазом все происходящее: одинокое такси (денег нет, подумал он, придется пешком), встречного пьяницу, который покачивался на ходу (вот, кому-то хуже, чем мне), красно-зеленый отблеск в мокром асфальте...

Неожиданно около него с визгом затормозил новенький «БМВ». Бронированное стекло опустилось. Оттуда выглянуло до боли знакомое лицо того самого Вани, в гостях у которого началась вся эта история.

— Ну чего, Колек? — окликнул он Артемова с какой-то новой, придурковатой и вместе властной интонацией. — Базар до тебя есть. Мы посмотрели, прикинули — гарный ты хлопец, и ведешь себя хорошо, и шмаляешь помаленьку... С бабой, конечно, облом вышел. Кто ж знал, что она такая... Но насчет тебя мы подумали и решили — подходишь. Садись в тачку, покалякаем о делах наших скорбных... — Ваня глумливо усмехнулся.

Артемов взялся за ручку двери и замер в нерешительности.

6 января 2006 года молодой поэт Коркин, криво улыбаясь, сидел в кабинете немолодого поэта Катышева, редактора поэтического отдела в толстом журнале, выживающем исключительно молитвами Сороса. В последнее время Сорос манкировал молитвами. Видимо, его вера слабела. На столе у редактора стояла трогательная пластмассовая елочка с крошечными шариками. Редактор принимал поэта на дому — журналы были в новогоднем отпуске.

— С вами все понятно, — сказал Катышев, возвращая Коркину дискету с подборкой. — В принципе, не будь у вас задатков дарования, следовало бы посоветовать вам навсегда оставить виршеплетство и заняться, например, коммерцией. А лет пятнадцать назад вас послали бы на завод. Так сказать, знакомиться с жизнью. Вставать в шесть утра, потеть и коптиться у вагранки, сливаться с пролетариатом, после смены пить пиво и через два года такой жизни отупеть до полной бездарности. После этого вам была бы открыта дорога в заводскую многотиражку, потом — в литобъединение «Закал», в журнал «Литературная учеба» и — как следствие этого — в Союз писателей.

В голосе Катышева зазвучала ненависть. Чувствовалось, что на этот путь его в свое время подталкивали много и усердно и только фантастически дурной характер позволил ему назло соблазнителям двадцать доперестроечных лет влачить жизнь литконсультанта при журнале «Пионер».

— Но у вас есть способности, да и в разговоре вы производите впечатление воспитанного юноши, — продолжал редактор, в упор глядя на Коркина. — Поэтому примем меры радикальные. Вы, как и вся ваша генерация, обчитались Бродским. Это дело опасное, потому что в результате здоровые, полнокровные люди начинают писать мрачные и скучные тексты без ритма и музыки о том, как им все надоело. Все превращается в перечень, понимаете? Глаз скользит по пейзажам и лицам, ни на чем не задерживаясь. Все бабы априорно сволочи. А между тем в паре ваших текстов чувствуется теплота, юмор, живая наблюдательность — словом, жаль, если пропадете. Вас надо отчитать.

— Да вы уж отчитали, — буркнул Коркин, в глубине души убежденный, что Катышев почувял в нем нового гения и теперь зажимает из зависти.

— Я не в том смысле, — отмахнулся Катышев. — Вы про Колесникова слышали?

— Который футболист? — презрительно спросил Коркин.

— Темный вы человек, Володя, — укоризненно сказал Катышев. — Он экзорцист. Спас для литературы больше людей, чем этот ваш

футбольщик голов забил. Приходят к нему кликуши, мизантропы, ксенофобы, патриоты-деревенщики... А уходят нормальные люди. Некоторые, конечно, сразу бросают литературу. Оно и к лучшему. Но другие выходят наконец на свою дорогу.

— Экзорцист... — протянул Коркин, вспоминая знакомое слово. — Я кино такое смотрел, помнится. Там в девочку вселился дух, а священник его выманил. Она все писалась, писалась... потом ее рвало... кощунства всякие... а подлинная ее сущность высывалась и пищала: спасите меня, спасите меня!

— Вот и ваша высывается и пищит, — сказал Катышев. — Спасите меня, я хочу жить, а не презирать все живое! И если вы не пишались и не кощунствуете, это вовсе не значит, что вам не нужен экзорцист.

Он снял трубку старомодного дискового телефона и набрал номер, который помнил на память.

— Коля? — спросил он тепло и уважительно. — К тебе на когда можно записаться? Нет, мне бы поскорей... Да, довольно запущенный, но не без потенциалов. Бродский, да. Минуточку.

Он прикрыл трубку ладонью и доверительно спросил Коркина:

— Пятьдесят баксов есть?

— Найду, — пожал плечами поэт. — Но это ведь чистое шарлатанство...

Катышев погрозил кулаком.

— Да, Коленька, он согласен, — сообщил он невидимому экзорцисту. — Завтра? Отлично, я бы мог в пять. Сам и приведу.



— Но завтра Рождество, — промямлил Коркин.

— У вас планы?

— Собственно, я...

— Собственно, вы собираетесь сидеть дома в темной кухне и сочинять рождественские стихи, — догадался Катышев. — Не надо. Придумайте что-нибудь свое. Попробуйте сочинять пасхальные.

Следующее утро Коркин провел в терзаниях. Он ненавидел себя за податливость и за то, что дает катышевскому другу-шарлатану подзаработать. Редактор явно получал комиссионные за отлов новичков. Но с другой стороны, столь мелкое жульничество не вязалось с образом катышевского лирического героя, да и поэт он был значительный — его похвала, хоть и с оговорками, грела коркинское самолюбие. Кроме того, он надеялся, что пятьдесят долларов служат в вожделенном журнале неким вступительным взносом, обычной платой за публикацию: рынок проник повсюду, литературному изданию без таких ухищрений не выжить... Как бы то ни было, в назначенное время Коркин зашел за Катышевым в редакцию, и они пешком направились в мансарду на Малой Бронной.

— Главное, не бойтесь, — наставлял Катышев. — Он отличный малый, без всяких оккультных примочек. Вы такое облегчение почувствуете, милый мой! Мир для вас заиграет всеми красками...

Коркин посмотрел вокруг, и настроение его испортилось окончательно. Играть всеми кра-

сками было решительно нечему. Стояла оттепель, погода была вовсе не рождественская, снег лежал разве что в витринах, и то искусственный. Люди, утомленные недельными празднованиями и предвкушавшие еще два дня мучительного отдыха, вяло плелись по бульварам. Все были смертны, а возлюбленная, которой Коркин позвонил утром с поздравлениями, явно торопилась на встречу с кем-то более веселым. «Где она нынче — мне неизвестно, правды сам черт из нее не выбьет», — вспомнилось поэту. Пятнадцатый троллейбус прополз мимо, взбаламутив льдисто-грязевое крошево. Толстый карликовый бульдог с выражением злобной целеустремленности на морде, натягивая поводок, тащил за собой по бульвару толстую старуху с выражением испуганной покорности на лице. Деревья топорщились голыми ветками, как легкие на школьной диаграмме. Навстречу попалась влюбленная пара: девушка в пудовых, по последней моде, башмаках брезгливо пропускала мимо ушей пылкие речи спутника, явно думая о чем-то, а может, и о ком-то постороннем. «Вот и все они такие, — с тоской подумал Коркин. — Идет с одним, мечтает о другом, а достается третьему, с деньгами». Получились две ямбические строчки, которые он решил со временем раздуть в полновесную элегию о подлости всего сущего. Если бы экзорцист жил чуть подальше, он бы успел придумать рифмы, но тут Катышев решительно подтолкнул его к темному подъезду.

— Сюда, сюда... на самый верх...

На лестнице пахло штукатуркой и кошками. За железной дверью помещалась неожиданно просторная приемная, в которой уже дожидались своей очереди пять человек разного возраста и пола. Колесников заставлял себя ждать. Лишь в половине шестого он стремительно вышел из маленькой дверцы, видимо отделявшей приемную от кабинета. Следом появилась красotka с подносом. Она остановилась напротив Коркина в выжидательном полупоклоне.

— Деньги доставайте, — грозно шепнул Катышев.

Коркин криво усмехнулся и извлек зеленую бумажку. Девушка кивнула и обошла остальных. Некоторые выкладывали сразу по две сотенных, из чего Коркин заключил, что его случай не самый тяжелый. Колесников обладал ярко выраженной восточной внешностью: ассирийская борода, густые брови, еще более грозные при малом росте, и адабашьяновские глаза навывкате. Знаменитая «Овсянка, сэръ!» была бы в его устах вполне органична.

— Господа, — начал он ровным и тихим голосом, — мой метод предполагает групповую терапию. Вы не должны в страхе ожидать приглашения за эту дверь, и потому я сам выхожу к вам. Не стесняйтесь товарищей по несчастью: все вы одержимы духами, но это не демоны низкой наживы и мелкого мошенничества. Вы больны, но это болезнь высокая, говоря словами одного из самых сильных духов в русской литературе. Только коллективное желание преодолеть одержимость способно прине-

сти плоды. Кроме того, само сознание типичности вашего случая, возникающее при групповом бесоизгнании, облегчает душу. Сегодня, в святой вечер Рождества, духи особенно восприимчивы. Поздравляю вас. Приступим. Начнем, пожалуй, с... с... с...

Палец Колесникова заблуждал по кругу. Коркин вжался в кресло.

— С вас, если позволите, — обратился он к надменному посетителю лет двадцати пяти, бледному, прыщеватому, с длинными невымытыми волосами и толстой взлохмаченной рукописью в картонной папке. — У вас кто?

— Вы сказали — Набоков, — презрительно отвечал посетитель.

— А, так вы после первичного осмотра... Припоминаю, — прищурился Колесников. — Помнится, полгода назад я вам сказал зайти весной, провериться... Что же, прочтите пару абзацев.

Криво улыбаясь и качая головой, дескать, так и быть, доиграю с вами эту вздорную драму, длинноволосый достал листок и монотонно, несколько нараспев прочел: *«Вспоминая лаковую гладкость ее долголягих ног, оттененных штриховым пушком снутри, Цептер грезил — вот подойду, вот трону, но соглядатай, живший в нем безотлучно, принимался мерзко хихикать, и образ таял, как колышущееся дымное кольцо, выпущенное усатым весельчаком в душной берлинской пивной на потеху честной компании. (Стук кружек, гогот.) Меж тем крался изразцовый вечер, и закат краснел, смущаясь, что опять не поспел вовремя, и подаваясь взад-вперед*

*в такт дребезгу трамвая, под его звяканье, подобное осипшему дверному звонку...»*

— Достаточно, — безапелляционно прервал Колесников. — Подзапустили. Надо бы нам с вами не откладывать до марта... Но ничего, ко мне теперь часто с Набоковым приходят. Есть безотказные приемы. Прошу вас, никакого волнения... тьфу, какой заразный! — Экзорцист тряхнул головой, отгоняя непрошеную цитату. — Могут быть неприятные покалывания и легкое головокружение, но это быстро пройдет. Сосредоточьтесь и слушайте внимательно. Если возникнут вибрации, не пугайтесь. Если затошнит, не удивляйтесь. Когда я подам знак, выпейте это. — Он кивнул девушке, и она тут же извлекла из стоящего в углу холодильника литровый пакет молока «Милая Мила».

— Холодноовато, — пощупал Колесников. — Дашенька, подогрейте до температуры парного... и подуйте в соломинку, чтобы вспенилось. Раз, два, три! — Он сделал стремительный пас в сторону длиноволосого, и тот безвольно поник в кресле, сраженный гипнотическим сном.

Колесников стремительно подошел к книжному шкафу и почти наугад, как бы в трансе, извлек толстый красный том. Голос его зазвучал тяжело и властно. Даша поспешно сунула в вялую руку пациента круто посоленную ржаную горбушку и встала наготове с подносом.

*«И вот в нелегкое это время скупно и неярко, словно стыдясь неурочного часа, расцвела любовь Федора Морозова и Клашки Никульшиной. Они не*

*ложились теперь, как когда-то, в пахучие травы, не гулевали, взявшись за руки, по зареченским лугам, любясь, как зажигаются звезды. Нароботавшись бок о бок в тех самых лугах, они присаживались приморить усталость, и Клашка доверчиво мостила головушку на его мохлявые колени.*

*— Что ж закрепшее вино в ковшике носить? — спрашивал Федор. — Расплещется! Не томи, Кланя!*

*— Не могу я допрежь свадьбы, Федя! — разрумянясь от стыда и доверчивого девичьего желанья, отвечала Клашка. — Как я людям в глаза посмотрю, как мамане отвечу?*

*Хмыкал да гмыкал Федор, а вокруг духмяно возрастали горькие сибирские травы...»*

При этих словах руки длинноволосого беспокойно задвигались, словно ища, кого схватить. Даша поспешно сунула ему кружку, в которой пенилось подогретое молоко. Пациент осушил ее единым духом и сомнамбулически откусил полгорбушки, после чего сморщился и мелко затрясся.

*«Сильно и часто вздымалась Клашкина крепкая грудь, увлажнились чуть раскосые глаза.*

*— Люб ты мне, Федя! — выдохнула она и, рванув на тугих грудях платье из застиранного ситчика...»*

Длинноволосый содрогнулся всем телом и прерывисто вздохнул, как человек, сдерживающий рвоту.

— Не сдерживайтесь! — повелительно воскликнул Колесников.

Длинноволосый открыл рот. В воздухе запахло хорошим парфюмом и альпийским ме-

дом. Внезапно пациент закашлялся, и изо рта у него вылетела небольшая серая бабочка, больше напоминавшая моль, покружилась над длинноволосым, словно изумляясь, как могла выбрать такое непрезентабельное жилище, и вылетела в заблаговременно открытую Дашей железную дверь. Все произошло так быстро, что Коркин не успел опомниться.

— А что такая маленькая? — любопытствовала высокая темноволосая девушка из угла.

— Раз на раз не приходится, — оборотился к ней Колесников. — По таланту, дорогая моя, по таланту. Из Виктора Ерофеева в свое время вообще мушка вылетела, типа дрозодилы... А как благодарил!

Длинноволосый медленно приходил в себя. Неузнающими глазами обвел он комнату, словно спрашивая: где я? отчего так сижу? Впрочем, ввиду излечения он уже не спрашивал ничего подобного. Нормальным, несколько не надменным голосом он поинтересовался:

— Николай Андреевич, получилось?

— Ну вы же сами чувствуете, дорогой мой! — улыбнулся Колесников. — В Батово не тянет? По родине не тоскуете? Перестал я вам напоминать шахматного коня?

Длинноволосый порывисто вскочил, несколько раз энергично потрянул руку экзорциста и, забыв в кресле свою папку, вылетел за дверь.

— Набоков вообще хорошо изгоняется деревенщиками, — доверительно пояснил Колесников. — Это дух покладистый, невредный... Вот с самими деревенщиками труднее. Давеча одного два часа Сартром отчитывал — ну

и хлынуло же из него потом, правду сказать! Конским навозом три дня пахло, а в сочетании с елеем это, знаете, то еще амбре... Ну-с, продолжим. Почитаете, что ли? — обратился он к высокой брюнетке, спрашивавшей про размеры бабочки.

Брюнетка была ничего, только держалась болезненно прямо, словно проглотила линейку, и нехорошо посверкивала глазами, особенно долго задерживая взгляд на бедном Коркине. И ноги у нее были великоваты, размер эдак сороковой, — не то Коркин, конечно, возымел бы на нее виды.

*— Всем взглядом — вонзаюсь,  
Всей грудью — прильну,  
Всем телом — вгрызаюсь  
В твою — глубину, —*

с легким задыханием скандировала брюнетка по рукописи, обозначая паузами бесчисленные тире.

*— Распята — навеки  
На зимнем — ветру,  
Учитесь, калеки,  
Пока — не умру! —*

с вызовом закончила она.

— Сложный случай, — покачал головой Колесников. — С одной стороны, чистая цветущая, но с другой... почерк покажите, пожалуйста. — Он впился взглядом в тетрадь. — А почему вы заглавное А пишете как строчное, только перечеркиваете? Эх, ахматовская душа... И потом вот это. — Он небрежно перелистнул страницу. — «Таинственных слов твоих жало, томительных горечь утех я в тысячный раз променя-



ла на то, что доступно для всех...» Да, голубушка, сложно. Как-то они вас борют по очереди... Чем же мне вам помочь-то? Дашенька, тальяночку бы мне...

«Неужели Есениным будет отчитывать?!» — ужаснулся Коркин, но Колесников уже развернул крошечную гармонику, и при первых ее звуках брюнетка погрузилась в тяжелый сон. Даша достала из кармана красный платок, повязала на голову и мгновенно преобразилась в пейзажку. Колесников приплясывал, высоко взбрасывая короткие ноги.

— Дура, дура, дура ты,  
Дура ты проклятая,  
У него четыре дуры,  
А ты дура пятая! —

запел он неожиданным дребезжащим фальцетом.

Даша, взвизгивая, подхватила:  
— *Мине милый изменил  
Под железным мостиком!  
В добрый путь, — ему сказала, —  
Обезьяна с хвостиком!*

И на два голоса они триумфально закончили свой дивертисмент:

— *Сидит милый у ворот,  
Моет морду борною,  
Потому что пролетел  
Ероплан с уборною!*

На этих словах брюнетка выпрямилась более обыкновенного и принялась изрыгать клубы папиросного дыма. Повеяло древними поверьями, старинными духами и немного отчего-то ладаном. Послышался демонический женский

смех, перешедший в икающие рыдания. Кратковременно попахло сиренью; брюнетка испустила стон страсти и обмякла.

— Скажите, — спросил осмелевший Коркин, пока она приходила в себя и поправляла прическу, — а вы с Сорокиным поработать не пробовали? Вот где, по-моему, благодатная почва... хотя, простите, если я лезу не в свое...

— Да как же с ним поработаешь, голубчик? — искренне изумился Колесников. — Из него дня три лезть будет, по преимуществу Петр Павленко, это сами знаете, какие ароматы, — а потом, ведь ничего не останется, у него сил не хватит своими ногами уйти! Рассеется, как Грушницкий из школьного сочинения. Помните? «Грянул выстрел, и Грушницкий рассеялся как дым». Я тут недавно из одной поэтессы — не будем называть имен, дама известная, православная — целый букет изгнал, весь Серебряный век, почитай, и еще Слуцкий... навонял мне тут ружейной смазкой... И что вы думаете? Под руки выводили, пять килограммов потеряла за сеанс! Теперь уехала на пасеку и больше не пишет. Следующий!

Короткий опрятный мужчина лет сорока пяти с бородкой клинышком, с крошечными изящными ручками и ножками прочел абзац, из которого Коркин понял только, что какой-то японский рыбак никак не мог понять, он ли снится рыбе или рыба ему, после чего выяснилось, что оба они сняты арабскому звездочету, который, в свою очередь, является галлюцинацией Артюра Рембо, а Рембо на самом деле не было, потому что его выдумал слепой аргенти-

нец. С аргентинцем все было понятно по первой фразе, но Колесников слушал внимательно, не прерывая. Наконец абзац кончился. В финале выяснилось, что слепой аргентинец тоже не существовал, потому что привиделся в горячечном бреде дочери бедного скотовода, которая после такого кошмара сошла с ума и умерла, не приходя в сознание. Колесников медлил и хмурился.

— Сильный... сильный дух... давно его не было, — бормотал он, подойдя к книжному шкафу. — Что бы тут попробовать? С Гессе работал, с Кортасаром работал, а этот библиотекарь чертов... Лучше бы Джойс, право слово, или Пруст, на худой конец, против этих Мельников-Печерский отлично шел... А, ладно, была не была! — Он сделал повелительный пас в сторону изящного коротышки и гробовым голосом продекламировал:

*— Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки,  
И разнеси по свету семена,  
Плодящие людей неблагодарных!*

Здесь, однако, произошло неожиданное. Коротышка встал и лихорадочно быстро заговорил, не открывая глаз, не выходя из транса, но бурно жестикулируя:

— Как, разве вы не знаете? Никакого Шекспира не было, это плод коллективной мистификации французского библиографа прошлого века Пьера Менара и его аргентинского приятеля Хереса де Пуэльяра! Об этом можно прочесть в единственном сохранившемся томе энциклопедии литературных курьезов, которую выпускал в Антананариву сумасшедший исследователь древних языков...

— Эх его разобрало-то, — сокрушенно покачал головой сосед Коркина, плотный мужичок с хитроватым лицом. — Активизировался... ♦

— *Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит,* — пожал плечами Коркин.

Как ни странно, эта цитата, произнесенная вполголоса, произвела на борхесомана совершенно потрясающее действие. Он мелко затрясся, и глаза его стали медленно открываться.

— Продолжайте, продолжайте! — яростно зашептал Колесников.

— *Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить,* — напел Коркин.

На словах «*так природа захотела, почему — не наше дело*» изящный коротышка вдруг испустил из всего своего существа облако пыли, словно его выбили, как старый ковер, принадлежавший упомянутому знатоку восточных языков. Запахло старой бумагой, зубным эликсиром и плесневым грибом. Из рта одержимого выполз маленький книжный червь и в горестном недоумении шлепнулся на пол, где его тут же раздавил торжествующий Колесников.

— Спасибо, голубчик! — горячо обратился он к остолбеневшему Коркину. — Сам бы я ни за что не додумался! Как подействовало-то, а? Непременно в следующий раз попробую это же против Кафки, а то Маяковский, подлец, берет через раз...

— А Маяковского, Коля, чем берешь? — спросил молчавший доселе Катышев.

— Вертинский неплохо шел до последнего времени, — отозвался экзорцист. — Но сейчас, Миша, чистый Маяк — редкость неслыханная. Он теперь в компании с Летовым, с панк-роком, а что с Гребенщиковым делать, я вообще ума не приложу. Только Шевчуком и спасаюсь, да еще если Кобзона включить — сразу вылетает. Совершенно не терпит патриотической песни.

— То-то он, говорят, выпускает диск — песни Кобзона в своем исполнении, — вставила очухавшаяся брюнетка. — Вертинского пел, Окуджаву пел... Теперь за классику принялся. Только слова меняет: «И Будда такой молодой, и Кришна всегда впереди...»

Подошла очередь хитроватого. Он начал было читать описание какой-то бурной оргии на вилле у нового русского, и Коркин слушал его с большим понятным интересом, но на словах *«его тридцатисантиметровое чудо по самые го-гошары вошло в податливую жаркую плоть Вероники»* Колесников решительно прервал пациента.

— Это дух древний и сильный, — сказал он серьезно. — С одного раза вряд ли. Кроме того, в умеренных количествах он даже полезен, но у вас, дорогой, неумеренное количество. Это уже, знаете, приапизм. Спать! — И хитроватый растекся в кресле.

— Что-нибудь целомудренное? — подсказал Катышев. — Может быть, «Девушка пела в церковном хоре»?

— Жалко на Баркова такие стихи тратить, — покачал головой Колесников. — Барков хоро-

шо изгоняется, знаете, патриотической лирикой. О любви к Родине — замечательно идет. Ну-ка... *Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь...*

Брюки хитроватого натянулись в известном месте. Он плотоядно оскалился.

— Ну-ну, — успокаивающе проговорил Колесников. — Что-нибудь поспокойнее... *Разве можно забыть этих русских мальчишек, пареньков, для которых был домом завод? Забота у нас простая, забота у нас такая: жила бы страна родная, и нету...*

Не успел он дочитать «других забот», как в воздухе послышалось словно хлопанье огромных крыльев, запахло неприличным, мелькнула розовая задница, послышался раскатистый хохот и громовое многоэтажное ругательство. Брюнетка покраснела. Хитроватый сразу осунулся, словно сдулся. Он казался постаревшим.

— А он после этого будет мочь? — не совсем по-русски спросил испуганный Коркин.

— Мочь — будет, — успокоил Колесников. — Насчет сочинять — не знаю. Надеюсь, что нет. Ваша очередь, молодой человек. Почитайте.

Коркин преодолел мучительный стыд, которого обычно не испытывал на публичных, всегда успешных чтениях, и начал:

— *Как ни странно звучит, но теперь уже, дорогая, несмотря на все твои письма, увы, когда я вспоминаю тебя — то почти уже беспристрастно, ибо время, всегда побивающее пространство, лечит все; и когда, как Овидий или Гораций, я сижу с полным ртом сравнений в тени*

*акаций, то моя душа, в пустоте воспаряя к Богу, обглаживает любовь, как куриную ногу.*

Не дослушав, Колесников засуетился, забежал по приемной, дергая себя за бороду и потирая лоб. «Сложно, сложно, — бормотал он про себя, — глубоко проник, да и дух сильный, нешуточный... Чем бы его... чем бы...» И в этот момент он неувовимо напоминал Коркину фельдшера из «Хирургии», который выбирает между щипцами и козьей ножкой.

— С вами придется без гипноза, молодой человек, — сказал он наконец Коркину. — Без вашего усилия ничего не выйдет. Либо вы по собственной воле освободитесь от этого рабского влияния, либо он так в вас и останется, лучшие годы отравит. Сосредоточьтесь и усилием воли исторгайте его из себя. Вам же лучше знать, где он сидит! А я помогу..

И Колесников четко прочел:

*— Шепот, робкое дыханье,*

*Трели соловья,*

*Серебро и колыханье*

*Сонного ручья,*

*Свет ночной, ночные тени,*

*Тени без конца...*

Коркин ясно чувствовал, что внутри у него что-то морщится и подергивается, как от уколов, но не сдается. Рот наполнился едкой горечью. Глядя прямо в глаза поэту, Колесников перешел на более мощное средство:

*— Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,*

*Как шли бесконечные злые дожди...*

Дух внутри Коркина заметался, но тут же заглушил голос экзорциста начальными строч-

ками «Памяти Жукова», которые громом отдались в ушах молодого литератора. «Универсальный, черт», — краем сознания сообразил Коркин, но Колесников не сдавался.

— *В закатных тучах красные прорывы.*

*Морская чайка, плаваний сестра,*

*Из красных волн выхватывает рыбу,*

*Как головню из красного костра.*

Дух скривился, заставляя скривиться и Коркина, и отозвался цитатой из «Нового Жюль Верна». На лице Колесникова выступил крупный пот, на лбу ижицей вздулась вена.

— *Стояла зима.*

*Дул ветер из степи.*

*И холодно было младенцу в вертепе*

*На склоне холма.*

Дух взорвался в ушах Коркина строчками «Рождественского романса», заглушившими даже следующий колесниковский залп — «Балладу о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова. На такие тексты он не реагировал вообще.

Но тут, чувствуя переломный момент, вмешался Катышев. Он пружинно вскочил на ноги и, уставив прямо в Коркина указующий перст, напористо и быстро затараторил:

— *Драмкружок, кружок по фото,*

*А мне еще и петь охота!*

*А что болтунья Лида, мол,*

*Это Вовка выдумал.*

*А болтать-то мне когда?*

*Мне болтать-то некогда!*

Коркин на миг потерял сознание. Он очнулся от резкого и сложного запаха, сочетавшего в себе крепкий табачный перегар, после-



вкусию граппы и гнилье прилива. Пахнуло каменной сыростью и тухлой водой канала. Послышался осенний крик ястреба, картавое твяканье чаек, и сноп искр вырвался из коркинского рта. Блаженное опустошение овладело поэтом, как если бы он свалил со спины пятидесятикилограммовый мешок цемента. Демон с шумом ввинтился в потолок, слегка опалив известку, и запахи пропали. Колесников вытер пот.

— Молодец, Мишка, — сказал он после паузы. — Как же я сам-то не догадался?

...Легкость и радость не покидали Коркина на обратном пути, когда он, оставив Катышева распивать чай с экзорцистом, торопился домой. Предварительно они с брюнеткой обменялись телефонами под предлогом последующих консультаций насчет последствий лечения. Брюнетка при ближайшем рассмотрении оказалась очень даже ничего себе. Вдвоем они сволокли хитроватого в такси и расстались до ближайших выходных. Коркин ликовал, глядя, как в конусах света под фонарями резвится морось. Дружелюбный троллейбус, наполненный светом, проплыл мимо и разделил его радость. Двое совершенно счастливых влюбленных, не сводя друг с друга глаз и поминутно спотыкаясь из-за этого, шли по Бульварному кольцу, сиявшему витринами. Дома Коркина ждал заботливо приготовленный матерью рождественский гусь.

«Гусь — это прекрасно, — думал Коркин, машинально подыскивая рифму. — Гусь... гусь... влюблюсь!»

— Молодой человек! — услышал он слева от себя. Прелестная девушка в ярко-красной куртке протягивала ему сигарету и спички. — Попробуйте наши фирменные сигареты «Казбек люкс» и знаменитые спички того же названия!

— Вы... вы девочка со спичками? — потрясенно выговорил Коркин.

— Типа того, — кивнула она.

— Так пойдете ко мне! — воскликнул он. — Вы же замерзнете!

И они пошли к нему. Но это уже совершенно другая сказка.

# ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ ДАЕТ ПРИКУРИТЬ

Святочный рассказ

Маленькая аккуратная девочка со спичками в белой шубке, белых сапожках и голубой вязаной шапочке стояла на перекрестке двух центральных улиц и предлагала всем закурить.

Это происходило в крупном городе, может, столичном, а может, просто миллионном — хоть в том, в каком живете вы, милый читатель. Я не стану пугать вас ужасными подробностями, которые так любил сентиментальный садист Андерсен, вечно подвергавший своих малолетних героев неслыханным испытаниям. У нашей девочки не было ни потрескавшихся башмаков на красных от холода ножках, ни рваных рукавиц на синих от холода ручках, ни жалобных просьб на белых от холода губках. Она не собирала денег на больную маму, не просила подать на пропитание малолетнего братика и вообще смотрела на прохожих с глубоким сочувствием, словно это не ей, а им требовалась благодетельная помощь.

Надо сказать, в Рождество или незадолго до него на улицах любого города можно периодически встретить девочку со спичками. Но для этого, во-первых, надо, чтобы у вас была неразрешимая проблема, а во-вто-

рых — чтобы вы не полностью утратили полезную способность смотреть по сторонам и замечать маленьких аккуратных девочек с золотистыми волосами и голубыми серьезными глазами.

Как раз по центральным улицам в это время ходило довольно много народу с неразрешимыми проблемами. Девочки со спичками знают, где стоять.

Например, как раз во время ее загадочного дежурства в дальнем конце улицы появился бледный молодой человек с синими кругами под глазами. Он третью неделю размышлял, стоит ли позвонить подруге, которую он без особых оснований заподозрил в неверности. Подруга до того обиделась, что не стала его разубеждать. Более того — она намекнула нашему студенту, что от такого дурака и впрямь впору сбежать к первому встречному, и если она не сделала этого раньше, то исключительно из сострадания. Тогда молодой человек обозвал подругу соответствующими словами и хлопнул дверью, а теперь жестоко раскаивался. Вдобавок ему страшно хотелось курить, а зажигалку он, как назло, забыл вчера в гостях, где переусердствовал по части спиртного, заливая любовную тоску. Ни одного табачного киоска поблизости не было. Студенту даже вспомнился анекдот про ад, в котором травки и гильз сколько угодно, а спичек нет.

— Молодой человек, — тихо и серьезно окликнула его девочка со спичками. — Вам прикурить не надо?

Студент остановился и спросил себя, не почудилось ли ему это своевременное предложение. Нет, не почудилось.

— Очень надо, — честно сказал он.

— Выберите спичку, пожалуйста, — сказала девочка и раскрыла перед ним коробок, в котором виднелись спички с разноцветными головками. Каких только тут не было — и фисташковые, и густо-зеленые, и белые, и красные, и даже блестящие, будто из сусального золота. Черная была только одна, она лежала в самом дальнем углу коробки, но студент потянулся именно к ней, потому что она соответствовала его настроению.

— Нет, эту пока не надо, — все так же серьезно сказала девочка, и студент подумал, что какая-то она подозрительно взрослая для своих десяти—двенадцати лет. Какая-то чересчур умная, какими не бывают даже отличницы этого возраста. — Вам, пожалуй, вот эту, — и она решительно чиркнула по коробку спичкой с розовой головкой.

Студент успел разглядеть картинку на коробке — огромная елка, вся в старомодных шариках и свечках; он видел такие обложки в детских журналах 1900-х годов — журналах, сотрудники которых и помыслить не могли, какая участь готовится их читателям.

Студент нагнулся к розовому огоньку, вдохнул дым «Честерфилда», и голова у него слегка закружилась. Девочка смотрела на него с любопытством и удовлетворением, слегка склонив голову набок. Примерно так же смотрела на него возлюбленная после первого сви-

дания, когда он робко заметил, что запал на нее еще с первого курса. В следующую секунду у студента зазвонил мобильник, он глянул на определитель, покраснел, побледнел, вспотел и равнодушным голосом сказал: «Да».

На него обрушился поток жалоб, слез, нежных упреков, угроз и раскаяний. Ноги его подкосились, но тут же обрели нездешнюю силу — и студент, не поблагодарив девочку со спичками, галопом помчался туда, откуда на него изливались долгожданные слова прощения и грусти. Девочка посмотрела ему вслед и спрятала коробок.

Вскоре, правда, ей пришлось извлекать его снова, потому что по другой, перпендикулярной, улице к ней приближался пациент куда более тяжелый. Сорокалетний безработный, перепробовавший множество разных профессий, умевший водить машину и трактор, паять кастрюли, вскапывать огород, починить при случае несложную электронику и провести сквозь шторм небольшую яхту, — словом, один из тех, на ком в идеале держится всякое общество, в тяжких раздумьях о полной своей не востребованности шагал по заснеженной улице. Надо ли добавлять, что наш лузер был вдобавок обременен семьей. Только что закрылось московское представительство крупной фирмы, отчаявшейся привить местному населению законопослушность, обязательность и прозрачность. Наш герой был вышвырнут на улицу без извинений и выходного пособия, как оно бывает сплошь и рядом, невзирая на растущую цивилизованность отечествен-

ного бизнеса. Когда-то по требованию шефа водитель бросил курить, но шефа теперь не было, и закурить было бы в самую пору.

— Дяденька, — сказала девочка. — Закурить не желаете?

— Рано тебе курить, — сурово сказал безработный. У него своих таких было двое.

— Я не курю, я прикуриваю, — назидательно сказала девочка. — Доставайте вашу «Приму».

— Я бросил, — бросил работяга.

— Ну и что же, — ответила девочка. — У вас в кармане пальто одна завалялась, я точно знаю. Доставайте, она в левом.

Дяденька послушно полез в левый карман и с ужасом обнаружил, что ребенок прав.

— Ясновидящая, что ль? — спросил он подозрительно. Ему теперь казалось, что все его хотят развести.

— Ты, дяденька, много не спрашивай, — улыбнулась девочка, и что-то в ее улыбке подсказало дяденьке, что расспрашивать действительно не нужно. — Ты спичку тyani.

Дяденька зажмурился и вытянул черную спичку.

— Как сговорились, — вздохнула девочка, отняла черную спичку и достала зеленую.

Она чиркнула ею о коробок и поднесла к дяденькиной «Приме» маленькое зеленое пламя. Дяденька сладко затянулся и ощутил прелесть независимости. Голова его слегка закружилась, он задрал ее, чтобы кровь отлила, — его когда-то учил так делать знакомый рыбак-гипертоник — и тут же увидел прямо

над девочкиной головой объявление: «Требуется водитель со стажем на очень хорошую оплату, курить можно». Он потянулся сорвать объявление, чтобы должность никому больше не досталась, но вместо объявления в руке у него вдруг оказалась визитная карточка будущего нанимателя с двумя телефонами, служебным и мобильным. Дяденька потряс головой и потрусил наниматься.

Девочка и ему вслед посмотрела с затаенной хитростью, с какой отдельные умные девочки глядят иногда на глупых мальчишек, но улыбка тут же сошла с ее лица, потому что с противоположной стороны улицы к ней в неуклюжей отечественной коляске приближалась женщина лет тридцати, с детства страдавшая мышечной дистрофией. В последнее время отчаяние этой женщины доходило до того, что она готова была запить или закурить, лишь бы отвлечься от немощи и полной не востребованности. Несмотря на повсеместную стабильность, инвалид как был, так и оставался никому не нужен, кроме собственной семьи, а силы семьи не бесконечны.

— Сударыня, — сказала девочка, пренебрегая принятым здесь обращением «женщина» или «ну ты». — Не желаете ли закурить?

— Мне нельзя, — сказала калека. — Я и так ходить не могу.

— Раз в год можно, — убедительно сказала девочка, уверенно вынимая пачку тонких дамских сигарет. — Выберите, пожалуйста, спичку!



Само собой, инвалиды в таких ситуациях почему-то всегда выбирают черную, но девочка посмотрела на женщину с осуждением, чиркнула оранжевой спичкой — и коляска растаяла, а несчастная калека с размаху плюхнулась на тротуар.

— Вот видишь, — сказала она, не упуская случая напомнить о своей правоте. — Мне нельзя курить, я уже падаю.

— Вставай и иди, — грубовато сказала девочка. — Разлеглась тут.

Несчастливая неуверенно встала на четвереньки, потом, цепляясь за девочку, поднялась на ноги, потом выпрямилась и сделала первый шаг.

— Чтой-то я? — спросила она полусшепотом.

— Двигай давай, — подбодрила ее девочка, пряча спички. — Курить ей вредно, видите ли... Жить тоже вредно, от этого знаешь что бывает?!

В следующие два часа девочка со спичками дала прикурить одинокому гею, тут же резко ощутившему свою натуральность, печальной натуралке, мечтавшей устроить ребенка в детсад, двум гастарбайтерам, пострадавшим от скинхедов, и одному скинхеду, пострадавшему от прыщей; мимо нее прошел также учитель, чуть не плакавший от того, что у него ничего нет, и олигарх, в голос рыдавший от того, что у него все есть. Прикурив у девочки со спичками, они, к обоюдному удовольствию, поменялись местами — и скоро учитель, назначенный губернатором отдаленного регио-

на, решительно вывел его в лидеры, а олигарх научил детей действительно важным вещам. Впрочем, это случилось через год. А пока девочку со спичками обнаружил на перекрестке крупный чиновник городской мэрии.

— Девочка! — заорал он. — Со спичками! Где твои родители, девочка?!

— Дяденька, — сказала девочка очень серьезно и посмотрела на него большими прозрачными глазами. — Вы на совещание опоздаете.

— Какое совещание! — вскричал чиновник. Он как раз отвечал за борьбу с беспризорностью, и похвастаться на этом поприще ему было решительно нечем, потому что в детприемниках его родного города для детей создавались такие условия, от которых они немедленно сбегали обратно на улицы — там было и теплей, и уютней, и безопасней. Чиновнику предоставлялся уникальный случай личным пиаром спасти положение. — Какое может быть совещание, когда на улице замерзает бесхозная девочка со спичками! Да я немедленно, своими руками отвезу тебя в детприемник и прослежу, чтобы тебя побрили, потому что ты, наверное, вшивая!

— Руки уберите, пожалуйста, — тихо сказала девочка.

— Нет-нет, умоляю, не убирайте руки! — завизжал над ухом чиновника чей-то удивительно гнусный голос. Такой голос не мог принадлежать ни мужчине, ни женщине, ни старику, ни ребенку, а только автору и ведущему «Ядерной программы», скандальному

репортеру Глебу Косых. — Мы как раз готовим сюжет о растлении малолетних, а когда крупный чиновник городской администрации гладит девочку — это самое то! Умоляем, еще одно поглаживание! Напоминаю, что наша программа официально приравнена к нацпроекту, потому что никто так не компрометирует идею журналистского расследования, как мы-ы-ы! — Голос Косых сорвался на совершенно уже невыносимый визг, и выросший рядом с ним откуда ни возьмись толстый оператор уже нацеливался на чиновника тусклым глазом телекамеры.

— Эт-та что такое?! — прогремел представитель местного УВД, отправлявшийся в очередной рейд (не забывайте, что улицы были центральные и представители власти появлялись на них регулярно). — Девочка? Со спичками?! Поджигаем существующий порядок?! Ах ты нацболка! — Он вытащил из кармана наручники и жизнеутверждающе потряс ими перед девочкиным носом. — Расступитесь все, граждане, сейчас здесь начнут задерживать малолетнюю экстремистку! Ишь чего выдумали — среди бела дня на улице со спичками! Вас не устраивает растущее благосостояние? Мы будем немножко допрашивать!

— Вот так расправляются власти с инакомыслящими! — радостно заверещал случившийся тут же оппозиционер. — Даже дети становятся жертвами режима, даже малолетние девочки выходят на свой марш несогласных! Немедленно, немедленно пришлите сюда

представителя международного фонда «Зло-радное наблюдение» и запечатлейте страдания ребенка, изнемогающего от полного отсутствия свободы слова!

— Девочка? Со спичками? — с негодованием рявкнул представитель движения по борьбе с незаконным передвижением мигрантов «Тутошние мы». — Ты что тут делаешь, а?! Да ты не местная! Признавайся, подлая гастарбайтерша, откуда пришла! Что-то я раньше тебя здесь не видел! Это из-за таких, как ты, понаехавших тут, наши коренные уроженцы не имеют возможности торговать спичками! Я с детства, с младенчества мечтал торговать спичками, а из-за таких, как ты, вынужден помирать с голоду в движении «Крашенная сотня»! Ну-ка, покажь паспорт с пропиской, или я в двадцать четыре часа устрою тебе полную Кондопогу!

— Не смей, не смей, это моя девочка! — ревел в задних рядах образовавшейся толпы крупный местный благотворитель, в ревущие девяностые известный большинству жителей под кличкой Сявка, а ныне державший казино в самом центре. — Я буду сейчас благотворительствовать! Пустите меня, я ей дам! Все говорят — выслать игорный бизнес в четыре зоны, а игорный бизнес кормит голодных детей! Пустите меня к девочке, я несу ей золотую карту нашего казино и завтрак из овсяных хлопьев!

— Отстаньте все от девочки! — надсадно верещал красный от возмущения мальчик из молодежного движения «Слава», названного

так в честь своего верховного куратора. — Это наша, правильная девочка! Она пополнит ряды лояльной молодежи, пойдет с нами на пикет у американского посольства и поедет на Селигер! Пустите меня, я комиссар района! Мне Глеб Савловский руку жал и настоящими слезами плакал, приговаривая: «Вот до чего я дошел!»

Некоторое время девочка со спичками безглаголиво смотрела на жадные руки, тянущиеся к ней, и слушала алчные выкрики. Всем этим людям она была нужна, даже необходима — но совершенно не для того, для чего была на самом деле предназначена. Она криво усмехнулась, и все затихло. Только бился сзади в истерике депутат местного законодательного собрания, призывавший немедленно оштрафовать ребенка за демонстративное курение на улицах. Сам депутат держал небольшой притон, но делал это скрытно, недемонстративно.

Девочка открыла свой коробок, где оставалось уже совсем немного спичек. Их, однако, все еще было вполне достаточно, чтобы решить проблемы нескольких жителей этого города, но, судя по хитрой улыбке, озарившей ее лицо, она нашла вдруг гораздо более простой способ решить эти проблемы и вдобавок сэкономить спички.

— Да идите вы все на фиг, — сказала девочка с ангельской улыбкой и чиркнула черной спичкой.

В ту же секунду толпа вокруг нее рассеялась. Контуры городской элиты побледнели, заколе-

бались и растаяли в морозном воздухе. Никто даже не успел пискнуть, только длинное лицо Глеба Косых, очень быстро реагировавшего на любые изменения, вытянулось еще больше, и на нем мелькнуло мимолетное сожаление о том, что рассказать об этом чуде в своей «Ядерной программе» он не успеет уже никогда. Да и программы никакой уже не бу..

— Вот и славненько, — сказала девочка со спичками.

Она аккуратно сняла белую шубку, под которой оказалась пара тоже очень белых, посверкивающих на солнце крылышек. Взмахнув крылышками, она плавно отделилась от мерзлой мостовой и поплыла вверх. В руках она крепко сжимала коробок со спичками.

Кое-кто, конечно, сочтет этот финал недостаточно оптимистичным, потому что спички ведь улетели, а нерешенных проблем осталось еще ого-го. Но смею вас уверить, что Рождество бывает раз в году, не чаще и не реже, и девочка со спичками встретится вам еще неоднократно. Надо только уметь смотреть по сторонам.

## ПРЕДМЕТ

### 1

Предмет был обретен в 2308 и последний год допредметной эры, в пятый день божественной Седмицы. Его отдал Тхутху Первому неуклюжий, мало на что годный, неспелый человек из чужих мест, называвший себя Пингвингстоном. Произнося это дикарское имя, он смешно ударял себя в безволосую грудь стыдного цвета. Сколько он ни подставлял тело солнцу, но истинной спелости достигнуть не мог. Питаться им побрезговали. Он служил для забавы.

Было даже странно, что Пингвингстон обладал таким прекрасным, можно сказать, священным предметом. Подобная вещь не могла достаться ему по заслугам, ибо какие заслуги у чужеземца? Правда, в Предании, предусмотревшем решительно все, находилось объяснение и этой причуде Бграбгра: старики помнили завет — «Нужное придет через ненужное, великое через малое». Вот оно и пришло. Немудрено, что, увидев Тхутху Первого и осознав его величие, странный уродец смиренно поднес Предмет верховному правителю племени.

Губы прищельца при этом широко раздвинулись, обнажив ряд мелких кривых зубов. С та-

кими зубами настоящий джамбо не добился бы даже звания воина, а уж странствовать одного его бы никогда не отпустили. Показывая жалкие зубы, чужестранец надеялся умиловать Тхутху Первого, словно расписываясь в своей непригодности даже к достойному наказанию. Если бы у какого-нибудь джамбо были такие зубы, он не посмел бы показать их не то что правителю, а и последнему джинго.

— Это это вот, — сказал мелкозубый на отвратительной смеси джамбо и своего варварского наречия. — Вот это быть твой, твоя. Я дать, идти. Надо быть туда. Ты взять, хранить твоя голова моя Пингвингстон.

Только вопиющей неучтивостью и непрошибаемой тупостью Пингвингстона, приехавшего из своего чужеземья набраться разума у джамбо, да так ничего и не понявшего, можно было объяснить его тхиу-тхиу — состояние разума, при котором ослепленный безумием полагает, будто у верховного правителя есть время и силы хранить в своей голове что-либо, кроме своей небесновосходящей родословной и свода законов племени. Тхиу-тхиу бывает присуще низшим чинам и рубщикам хижин, полагающим, будто они смеют тревожить повелителя просьбами. Втолковать чужеземцу столь тонкое понятие невозможно, для него, вероятно, и слов нет в варварских наречиях непропеченных племен, — и потому Тхутху Первый не приказал немедленно удавить Пингвингстона лианой, а снисходительно принял из его рук маленький тяжелый Предмет.



— Быть польза, — сказал Пингвингстон, жестом попросил Предмет обратно и показал, какая именно от него бывает польза.

Тхутху Первый пережил в эту секунду одно из сильнейших потрясений за все свое шестидесятилетнее правление, — он начал править еще во чреве матери. Не каждый день случается Откровение, и никогда не знаешь, через кого оно явится. Он проделал с Предметом то самое, что делал Пингвингстон, и с первого раза получил результат. Это чрезвычайно обрадовало путешественника. В соответствии с варварскими обычаями своего племени он издал громкие лающие звуки и широко открыл пасть.

— Это быть окей! — воскликнул он. В его дикарском наречии слово «окей» заменяло множество тонких понятий, служа то выражением униженной просьбы, то одобрения, то испуга; «Окей, окей!» — повторял он, помнится, когда Мбанга, оруженосец царя, собрался немного поучить его манерам. — Ты мочь, видеть? Ты делать!

Деликатно пропустив мимо ушей непристойный лай чужестранца, верховный правитель спросил:

— Отчего ты, презираемый шакалами, брезгливо пощаженный гиенами, не дал мне прежде этого божественного Предмета, хотя слоняешься здесь уже три луны, препятствуя нашему племени длить свою Тхаллу?

Путешественник развел руками:

— Я смотреть, как вы делать сами. Если я дать, вы делать через эта штука. А я иметь долг понять, как вы зазывать Бханга.

Тхутху Первый понял, что ради удовлетворения своего ничтожного любопытства путешественник спокойно наблюдал за церемонией вызова Бханга — сложнейшей из церемоний джамбо; надо было долго, очень долго крутить между ладонями деревянную тхунжу, зажатую меж двумя тхунжами поменьше, и только тогда, снизойдя к усилиям верховного жреца, умиловивленный Бханга сходил к племени и широко, жарко являл свою силу. Удержать его трудом удавалось не всегда, порой он бежал от дождя, порой засыпал сторож — жрецу приходилось умиловивливать Бханга два-три раза в течение одной луны... и Пингвингстон вместе со всеми джамбо наблюдал за процессом, — тогда как волей Бграбгра обладал способностью вызвать Бханга одним щелчком!

— Недоволен тобою, — скупое сказал Тхутху Первый.

К этому ничего не требовалось добавлять — обычно любой подданный, услышав эти слова, уходил в темную глубь джунглей, чтобы уже не возвращаться. Но Пингвингстон принял эти слова за выражение скорби по случаю его отъезда — проявив тем самым возмутительную хтумпхту — самообольщение, свойственное чужеземцам в сезон засухи. Объяснить им это заблуждение было невозможно: хтумпхту — слишком тонкое понятие даже для простых джамбо.

— Я быть верну себя, — закивал Пингвингстон, смагивая слезы. — Я быть прийти еще, принести вещи удивить ты! Еще видеть меня, стать мой друг, — и много еще чепухи на его родном языке.

Разумеется, даже если бы он и пожелал вернуться, он не нашел бы уже и следа стоянки джамбо, ибо племя не любило долее пяти лун сидеть на одном месте; выполнив свое назначение, Пингвингстон мог проваливать хоть в желудок крокодиловой матери.

## 2

Путешественник исчез, и больше его в самом деле никто не видел, — а джамбо продолжили свою жизнь по новому летоисчислению. Важной его особенностью стало то, что в пятый день божественной Седмицы отныне запрещались какие-либо действия, включая даже собирание кореньев: каждому джамбо надлежало лежать под сенью священного дерева Агора-оэ и размышлять о божественных Предметах. Любое действие в этот день расценивалось как кощунство, а совокупление запрещалось до окончательного угасания божественного Бханга.

И в год второй по этому летоисчислению случилось то, что чуть было не положило начало новому календарю: Предмет перестал действовать, или, вернее, впал в состояние кхекхе — для которого и пришлось специально вводить это тонкое понятие. Кхекхе — такое состояние Предмета (или племени, или единичного джамбо, или всего мироздания), при котором функционировать в полную силу уже невозможно, но искра былого могущества еще сохраняется. У человека кхекхе бывает следствием болезни или старости, но у Предмета как у сущности божествен-

ной не могло быть старости. Да и что такое полтора года?! Тут дело было в грехах, исключительно в грехах — о чем и сообщил племени верховный жрец Мтутси, известный таким благочестием, что даже совокуплялся не иначе как четырежды в год, только при условии полной тсулли и сотворив многократную бгрвану.

— Видите это?! — кричал он племени, высоко подняв над головою магически иссякнувший Предмет. — Видите ли вы, дети дикобразов, подражатели обезьян, гнилозубые джинго?!

Племя недовольно зароптало. Оно могло еще снести сравнение с обезьянами и дикобразами, но называть их именем их главного врага не смел и самый целомудренный жрец.

— Божественный Предмет иссяк! — кричал Мтутси. — Божественный Бханга не приходит больше на зов Предмета, хотя ранее являлся по первому шелчку! В последнее время он не всегда являлся даже и по третьему, а теперь только бледная искра озаряет собою беспробудную ночь нашей будущности! Молитесь! Молитесь всемогущему Бграбгра, умерьте пищу и прекратите совокупления! В совокуплениях расходуете вы энергию Тпрутпру, привлекающую Бханга! Довольно совокуплений! Два месяца воздержания — и к божественному Предмету вернется сила!

Племя послушалось Мтутси, поскольку за время своего жречества он совершил по крайней мере одно бесспорное чудо. Пусть ему ни разу не удалось вызвать дождя или, напротив, прекратить его, когда Пхлюпхлю обиделся на

джамбо и плакал от обиды четыре месяца подряд, размывая джунгли и вызывая простуду; но Мтутси совокуплялся четырежды в год, а это само по себе такое чудо, что любые манипуляции с дождем бледнеют перед этим. Если бы Пхлюпхлю обладал человеческой тхаррой, то есть способностью испытывать благоговейный восторг перед людскими деяниями, он плакал бы над подвигом Мтутси непрерывно. К счастью, у богов своя тхарра, и плачут они непредсказуемо.

В течение двух последующих месяцев джамбо воздерживались, и сам Пхлюпхлю разрыдался, глядя на их благочестие. Он рыдал неделю и две, и охота стала невозможна, а плоды сгнили, и никаких развлечений, кроме совокупления, у джамбо не осталось — а Предмет все пребывал в состоянии кхекхе, ограничиваясь бледной искрой, да и та высекалась теперь с неприятным скрежетом, словно Предмету надоело, что его беспокоят по пустякам. Способ Мтутси оказался плохим, неуютным, бхребхре способом. В племени скопилось столько энергии Тпрутпру, что оно двинулось к жилищу верховного жреца и немедленно излило бы избыток энергии в общем совокуплении с ним, после чего Мтутси мог сразу перейти в божественное состояние, но его спас гонец джинго, явившийся на Поляну сбора прямо в своей безвкусной раскраске.

— Люди джамбо! — воскликнул он визгливым голосом, отличающим всех джинго. — Оставьте бесполезный бунт и обратите свою Тпрутпру в правильное русло. Мы знаем, отче-

го ваш Предмет утратил божественную Предметность. Отдайте его нам, и вы увидите, как божественный Бхунгу — ошибочно называемый вами Бханга — явит свою тхлюллю с прежней яркостью и жаркостью.

Верховный жрец Мтутси, заметив, что дело принимает непредвиденный оборот, вылез из своей хижины и обратился к гонцу джинго со столь отборной бранью, что джамбо переглянулись и простили ему многое. Все-таки он был настоящий святой.

— Почему же вы, гиений послед, испражнение больной черепахи, желчь гусеницы, полагаете, что имеете особое право на Предмет, который сам Бграбгра руками недостойного чужеземца вручил нашему судьбоносному правителю? — закончил он свою речь, вошедшую в поговорку. Любой, кому удавалось удачно ответить собеседнику, хвастал в кругу родственников: «И тут я отдал его, как Мтутси джинго!»

— Не трать даром Тпрутпру, — отвечал гонец, непристойно ослабившись. — Если бы ты чаще совокуплялся, седая вошь, клянусь, ты говорил бы меньше глупостей. Божественная сила оставила Предмет потому, что он находится в неправильных руках. Ничтожный чужеземец должен был отдать Предмет нашему правителю, молниеносному Мгбрумгбру Шестому, потому что мы должны были стоять на этой стоянке восемнадцать лун назад. И тогда мы владели бы Предметом, а вам достался бы Пфупфу.

Люди джамбо могли стерпеть многое, но от такой наглости схватились за копья. Мтутси

остановил их праведный гнев повелительным жестом.

— Каждый мужчина джамбо и без того имеет Пфупфу, — ответил он с великолепной язвительностью. — Если мужчины племени джинго не имеют Пфупфу, это их проблемы. — И, сбросив травяную бхтамптху, Мтутси продемонстрировал потрясенному гонцу великолепный Пфупфу, не истертый частыми совокуплениями. — Мы были тогда на своем месте и занимали свою стоянку, а если вы прощелкали своими клюкля и не поспели к божественному откровению, вам остается поедать свои кхакха!

И, комически присев и натужившись, Мтутси изобразил, как именно джинго должны делать кхакха. Племя джамбо замерло в ужасе. Это означало войну.

Ритуал кхакха считается у джинго особенно священным и обставляется массой условностей, — джинго проявляют при этом чудеса терпения. Во-первых, никто не смеет делать этого в одиночку — ибо слишком частое кхакха оскорбительно для взора Бгрубгру, как называют они верховное существо; все племя собирается для кхакха единожды в сутки. Во-вторых, перед каждым кхакха верховный жрец джинго произносит часовую молитву-извинение, прося прощения у Бгрубгру за то, что племя сейчас осквернит его взор и обоняние; недержание кхакха карается немедленной смертью. При всей своей ненависти к джинго люди джамбо не могут не оценить их верности ритуалу и стараются не оскорблять его даже во время непрерывных взаимных перепалок. Если

Мтутси посмел осмеять кхакха — значит, он вызывал джинго на бой.

Гонец понял это. Некоторое время он стоял в немом оцепенении, потом резко повернулся и ушел в чащу. Он шагал, высоко поднимая костистые дхартха и размахивая жилистыми тхертхе, — так идет человек, несущий весть о войне.

### 3

Первый Предметный поход отделялся от второго всего двумя лунами. Джинго не могли смириться с неудачей, тем более что несколько раз они были буквально в шаге от Предмета, — первый Предметный поход совпал с переходом в совершенное состояние божественного Тхутху Первого, съевшего слишком много древесных грибов. Человек не может съесть столько древесных грибов, это под силу лишь божеству — каковым Тхутху Первый и сделался, освободившись предварительно от всего кхакха, какое в нем было. Его старший и любимый сын Баубау Первый не растерялся и дал джинго отпор столь достойный, что еще две луны им неповадно было и думать о реванше. Однако в начале третьей луны они вооружились легкими копьями, запаслись отравленными стрелами и приступили к второму Предметному походу, закончившемуся для джамбо трагически. Предмет был не только похищен, но и поврежден. Во время генерального сражения, когда за обладание Предметом дрались Мтутси и Нстухни, из предмета выпал крошечный



твердый камешек вроде кремня, после чего перестала высекается даже искра. Бграбгра и Бгрубру окончательно отвернулись от своих несчастных подопечных.

На второй Предметный поход джамбо спустя пять лун ответили Предметным походом детей. Расчет их был прост: в бою джинго явно научились превосходить джамбо. Закаленные ритуалом кхакха, обладающие нечеловеческим терпением, воины их не знали усталости, никогда не испытывали постыдного хрумхрум и унижительного кхекхе. Вернуть Предмет можно было лишь силою хитрости — выставив против воинов такую силу, которой они не посмели бы сопротивляться. Пойти на избиение агуагу могли только законченные фуфу. Рисковать жизнью своих агуагу племя может только в крайнем случае, в период великого хныхны и действительно грозной опасности, — но попробуйте представить себе, что такое жизнь без Предмета, тяжкая, унылая беспредметная жизнь! Не зная Предмета, еще можно без него обходиться; но обладать предметом и утратить его — непосильная кара для народа, еще вчера вызывавшего Бхангу одним щелчком.

И джинго в самом деле не решились истребить агуагу — они просто взяли их в плен, превратив в свою прислугу; об этом поведал самый хитрый агуагу, сумевший бежать к своим через ночные джунгли, находя путь по предусмотрительно оставленным кхакха. Дело в том, что сразу после пленения агуагу джинго снялись со стоянки и ушли в глубь джунглей, и ес-

ли джамбо хотели вернуть своих, нагонять их следовало быстро.

Так джинго сделали то, что не прощается, — и началась Вечная Война; вечная — ибо исходом такой войны может быть лишь полное истребление противника. А поскольку джинго все время ставили себе цель вести себя хуже, чем джамбо, — джамбо в ответ задались целью вести себя хуже, чем джинго, и в конце концов наперегонки устремились к состоянию фуфу. Впрочем, ни одна воюющая сторона уже не помнила столь тонких понятий — разве что верховным жрецам эти слова еще что-то говорили.

Война, однако, велась по строгим правилам. Джамбо строго соблюдали Пятый день божественной Седмицы. У Джинго был свой праздник воздержания от каких-либо действий — Шестой день Божественной седмицы, в который в ходе второго похода был обретен Предмет. В этот день Джинго лежали под деревом Алоха-уэ, размышляя о своих воинских подвигах и о жертвах, принесенных ими ради обладания Предметом, и были легкой добычей: джамбо могли их бить сколько угодно — они не имели бы права сопротивляться. Штука в том, что джунгли велики и труднопроходимы, а потому прежде, чем истребить беспомощных джинго, их еще надо было найти. Это же касалось джамбо, умудрявшихся в пятый день божественной Седмицы как-то так рассредоточиться по джунглям, что сам божественный Бханга не сразу нашел бы их с небес огненным глазом. Правда, в седьмой год нового календаря джинго все-таки нашли стоянку джамбо в пятый

день и вырезали почти всех; объевшись на радостях, они не смогли уйти далеко, и в шестой день остатки джамбо вырезали почти всех джинго. Для восстановления войск понадобилось десять лет — все это время война велась с прежней интенсивностью, но далеко не в прежнем масштабе.

Прервать Предметную войну хотя бы на миг — значило предать Предмет. Джинго обращались с ним не просто неправильно, а кощунственно. Так, они вырезали из дерева скульптуры, на которых Пингвингстон вручал предмет их вождю Мгбрумгбру Пятому, что было, во-первых, исторически неверно, а во-вторых, теологически оскорбительно. Изображать Пингвингстона нельзя было уже потому, что Пингвингстон выступил в этой ситуации орудием Бграбгра, а Бграбгра, равно как и его орудия, изображению не подлежат. За одно это всех джинго следовало бы истребить до девятого колена, но еще ужасней было то, что они пытались проникнуть в божественный Предмет с намерением, о смешные недоумки, исправить его! Как человек может исправить то, что сломано Богом в наказание за наши грехи?! Но тот, кто надеется объяснить что-либо глупому джинго, сам не умнее ничтожного джинго. Надо дожидаться Пингвингстона — ведь он обещал вернуться. Он придет и во время своего второго пришествия расскажет всем, кому подарил Предмет. И верные возликуют, а неверные устыдятся.

Война тянулась уже двадцать лет, с регулярными перерывами на пятые и шестые дни бо-

жественной Седмицы, когда войска бездействовали, а работали только разведчики. Несколько раз их поиски увенчивались успехом, но в таких случаях, как назло, счастливы, обнаружившие стоянку чужих, не могли на обратном пути найти своих. Божественный Предмет переходил из рук в руки, задерживаясь у каждого из племен не долее седмицы. Джанти, джойнты, дженни и другие племена, населяющие джунгли, наблюдали за вечной битвой джамбо и джинго со смесью тхулле и тхилле.

#### 4

В седьмой день божественной Седмицы, служивший в мирное время для отдыха и развлечений, молодой разведчик джамбо, известный под именем Змееда, лакомился молодыми зелеными кваква на поляне близ ручья. Дело было после трудного боя, во время которого джамбо, вот уже неделю обладавшие Предметом, доблестно отбили очередное нападение джинго. Личному составу разрешено было оправиться и поесть.

Змеед упрыгал в глубь джунглей за одной особенно юркой, хоть и жирной кваква, когда услышал позади себя на поляне два подозрительно знакомых голоса. Он сразу узнал их — у разведчика должна быть хорошая память. Разговаривали престарелый Мтутси и его коллега из племени джинго, преемник старого Нстухни, унаследовавший его имя.

— Здесь нас никто не услышит, Мтутси, — самонадеянно заметил юный Нстухни.

— Если же и услышит, то не поймет, — отмахнулся Мтутси.

— Ты принес?

— Разумеется.

Змеед, затаившийся в кустах, не поверил своим глазам. Мтутси достал из складок бхтамптхи божественный Предмет и протянул Нстухни бесполезную матовую святыню.

— Утром я скажу им, что Предмет похитили ваши разведчики во время ночного набега. Сам же себе нанесу свежие раны.

— Ты отважен, Мтутси, — уважительно заметил Нстухни.

— На многое приходится идти, чтобы не прервалась божественная Тхалла, — сухо ответил старик.

— Согласен с тобою, — кивнул молодой жрец. — Война есть лучший способ длить божественную Тхаллу. Глупые дженни, безумные джойнты и самодовольные джанги не знают божественной Тхаллы, а потому обречены вечно оставаться дикарями. Тогда как мы продвинутые люди.

— Да, — признал Мтутси. — Для этого не жаль никаких жертв. Только мы, жрецы, умеем поддерживать божественного Бхангу и после того, как Предмет перестал вызывать его.

— Воистину, — поклонился джинго. — Бхтумптф!

— Бхтамптф, — поправил Мтутси и стремительно исчез.

Змеед укусил себя за палец и подумал, что все это ему приснилось. Нельзя есть слишком много кваква, от них и мысли начинают прыгать куда не надо.

Второе пришествие Пингвингстона, о котором так долго грезили джамбо и джинго, несколько запоздало. Он двадцать лет собирал деньги на новую экспедицию, а когда собрал — сам был уже не тот. Ему оказалось непросто найти то самое место, на котором он прощался когда-то с обаятельным, доброжелательным вождем открытого им дикарского племени. Он написал у себя на родине десять книг об этом племени, но они не принесли ему денег — никто не верил в существование бродячих племен в джунглях, а доказательств у него было мало. Лишь на двадцать первый год он проплыл по великой реке к тому месту, где, казалось ему, он высадился когда-то, — но никаких следов джамбо и джинго в джунглях уже не было.

— Я клянусь вам, что это тут! — чуть не плача, повторял Пингвингстон.

— Очень может быть, — снисходительно кивал Гаттерас, представитель спонсора, приданный Пингвингстону для освещения сенсации. — Но сейчас здесь нет никаких следов человека.

— Я ведь обещал им вернуться, — шептал Пингвингстон. — Неужели они не дождались?!

О причинах исчезновения джамбо и джинго Пингвингстону путано рассказал случайный джанги. Пингвингстон почти не понимал языка джанги, ибо даже наречие джамбо освоил с трудом. До него дошло только, что джамбо таинственно исчезли, а вместе с ними и джинго, их главные и любимые соперники. Их по-

жрала таинственная Тхалла — джанги и сам, кажется, не очень понимал, что это такое. Но если неспелый человек пожелает, он может увидеть причину всего. Пингвингстон пожелал. Его отвели на стоянку джанги. Маленькие агуагу, как называли их некогда джамбо, играли небольшим тяжелым предметом.

— Господи! — выдохнул Пингвингстон. Перед ним лежала его верная «Пиппо», давно уже не разжигавшая ничего, кроме национальной розни. Да и та закончилась.

— Я забрать это? — робко спросил Пингвингстон.

— Мне по пфыпфы, — пожал плечами джанги, что означало «пожалуйста».

Пингвингстон нагнулся было за предметом — дети равнодушно посторонились, — но в последний момент отдернул руку. Предмет, за который умерло много народу, обладает темной аурой даже после того, как погиб его последний защитник.

— Ладно, — сказал Пингвингстон. — Я не быть хотеть, не нуждаться. Играть, не бояться. Я иметь много такой предмет.

## Содержание

*А. Кабаков.*

Спальный вагон и маленькая тележка 5

### ЖД-РАССКАЗЫ

Отпуск 11

Битки «толстовец» 27

Мужской вагон 42

Миледи 58

Работа над ошибками 75

Ангарская история 91

Обходчик 107

Убийство в Восточном экспрессе 124

Можарово 142

Чудь 159

Инструкция 176

Проводник 190

### НЕ ЖД-РАССКАЗЫ

Другая опера 211

Киллер 228

Экзорцист-2006 253

Девочка со спичками дает прикурить 274

Предмет 286



Литературно-художественное издание

Быков Дмитрий Львович  
ЖД-РАССКАЗЫ

Редактор  
Е.Д. Шубина  
Художественный редактор  
Т.Н. Костерина  
Технолог  
С.С. Басипова  
Оператор компьютерной верстки  
Л.Г. Иванова  
Оператор компьютерной верстки переплета  
В.М. Драновский  
Корректоры  
Е.В. Рудницкая, Л.М. Кочетова

Подписано в печать 18.09.2007. Формат 84×90<sup>1/32</sup>.  
Бумага писчая. Усл. печ. л. 13,3. Тираж 10 000 экз.  
Заказ № 746.

ЗАО «Издательство «Вагриус»  
107076, Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2.

Отдел реализации издательства:  
(495) 510-56-09, 510-56-10  
Электронная почта:  
vagrius@vagrius.com

Отпечатано в соответствии с качеством  
предоставленных диапозитивов  
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»  
620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.  
<http://www.uralprint.ru> e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)

*«Это рассказы, сочиненные специально для одинокого читателя, выпавшего из привычного мира и еще не приехавшего в новый. Рассказы для чтения в вагоне, на палубе, в воздухе... И во время путешествия из одного состояния в другое. Автор писал их в таком же статусе».*

### **Дмитрий Быков**

Новую книгу Дмитрия Быкова «ЖД-рассказы» с его романом «ЖД» – литературной сенсацией прошлого года – объединяет только аббревиатура. В романе сам автор давал ей несколько расшифровок (впрочем, подавляющее большинство читателей усмотрели в ней лишь одну...) Здесь же расшифровка действительно одна, причем самая привычная – Железная Дорога. А дорога располагает к беседам между незнакомыми людьми, и в беседах этих иногда всплывает такое!!! Рассказы в книге самые разные – юмористические, философские, бытовые, есть даже триллеры и «ужастики». Нет только скучных.

ВАГРИУС

ISBN 978-5-9697-0504-3



9 785969 705043